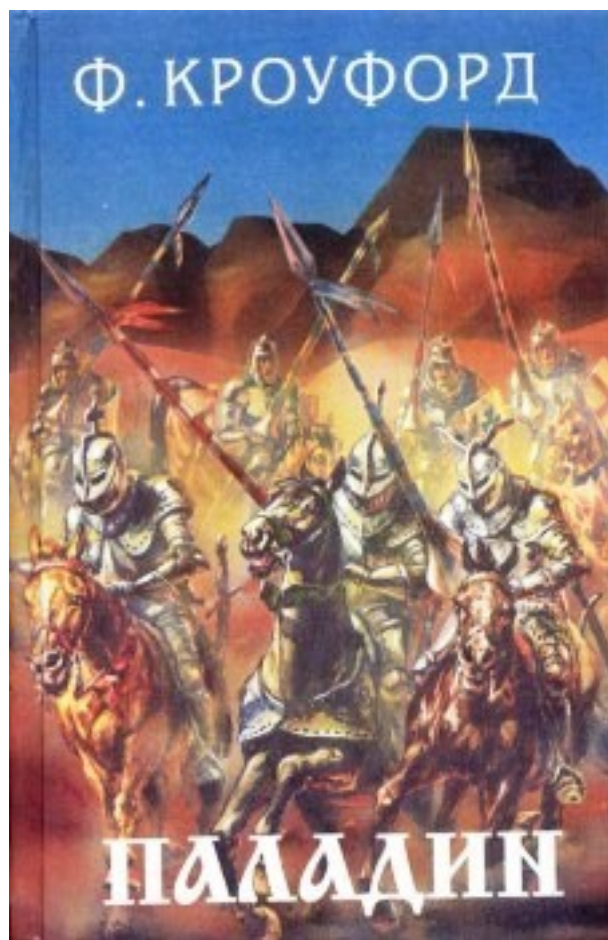


Ф. КРОУФОРД



ПАЛАДИН

Френсис Кроуфорд

Две любви

Кроуфорд Ф. М.

Две любви / Ф. М. Кроуфорд —

Действие романа происходит во время второго крестового похода (1147 – 1149 гг.). Молодой рыцарь Жильберт – сын злодейски убитого аристократа – вступает в ряды воинов Второго Крестового похода, движимый мстостью к врагам рода и любовью к прекрасной королеве Франции.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
I	5
II	13
III	18
IV	21
V	26
VI	31
VII	37
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Френсис Кроуфорд

Две любви

Текст печатается по приложению к журналу «Исторический Вестник», С.-Петербург, 1903 г.

Текст печатается в редакции 1903 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Был полдень 5-го мая 1145 г. В небольшом саду, расположенном между внешней стеной и рвом Сток-Режисского замка, медленно прогуливалась дама. Узкая аллея, по которой она шла, была окаймлена с одной стороны длинной живой изгородью розовых кустов, а с другой – цветником. Последний был разделён на множество маленьких квадратов, засаженных попеременно цветами и душистыми травами и окаймлённых фиалками. Линия, где оканчивалось цветочное насаждение, переходила в колосистый тростник, беспорядочно росший по берегу глубоких зелёных вод рва. Далее тянулся лужок с подстриженной бархатистой травой, затем виднелись большие дубы, весенние листья которых давали незначительную тень; а там за ними пашни и долины развёртывались длинными, зелёными волнами вспаханной земли и пастбищ так далеко, как только мог видеть человеческий глаз.

Солнце закатилось; его лучи окрашивали красноватым Цветом золотистые волосы дамы и воспламеняли нежность её голубых глаз. Она шла волнистой походкой, полной непринуждённости. В её гибких манерах виделись разом сила и грация. Хотя она не была совсем молодой женщиной, но никто не мог бы утверждать, что она перешла зрелый возраст. Её черты лица в первые годы её юности были холодной и резкой правильности и могли сделаться острыми в старости, теперь же в полном расцвете её жизни они смягчились и округлялись. В то время, как солнечное золото темнело в теплом воздухе и окрашивало глаза и волосы дамы, в её лице произошла перемена, о которой она даже не подозревала. Белая мраморная статуя внезапно изменилась в тёмную золотую, может быть, все ещё прекрасную, но выражение и смысл были уже не те. В слишком большом изобилии драгоценного металла всегда есть что-то дьявольское. Это нечто есть символ внушающий идею алчности, добычи, выгоды, всего, что заставляет жить честолюбивых безумцев-богачей. Между тем чаще всего одним только фактом уничтожения золота или серебра выражают достоинство и простоту, что вовсе не исключает грандиозности.

Над закатывавшимся солнцем плыли тысячи маленьких облачков, лёгких и волнистых, как лебяжий пух. Одни были ослепительного блеска, другие окрашены розоватым цветом, третьи – ещё далеко на востоке – уже пурпуровые. Само небо было похоже на мистическую форму гигантского крыла, как будто какой-нибудь громадный архангел витал на горизонте, направляя украшенное драгоценностями крыло к земной тверди. Другой архангел, находившейся под ним, был невидим. Как раз под перистой дубовой листвой, позади которой скользило солнце, длинные красные, жёлтые и жгучего цвета императорского пурпура полосы перерезали небо направо и налево. Над большим рвом лёгкие и гибкие стрекозы и мотыли, живущие один день, преследовали друг друга сквозь розоватый туман.

Когда закатившееся солнце бросило последний прощальный взгляд между дубами, расположенными на бугорке, дама остановилась и обернулась к свету. На её лице отражалось любопытство, ожидание и немного беспокойства, но не было видно нетерпения. Прошёл уже

месяц с тех пор, как Раймунд Вард, её муж, отправился с полудюжиной своих оруженосцев и слуг приветствовать императрицу Матильду. Правда, что двор этой принцессы было только подобие двора, а в действительности царствовал над всей страной Стефан, хотя несправедливо. Во всяком случае ещё находился тут и там кое-какой рыцарь, упорствовавший в своей верности Матильде, но обязанный оказывать почести Стефану за свои земли, который, однако, считался бы вероломным изменником, если бы он не сдержал клятвы верности относительно несчастной женщины, лишённой власти, своей законной государыни.

Одним из таких верных приверженцев был Раймунд Вард, прадед которого сопровождал Роберта Дьявола в Иерусалим и находился возле него, когда он умер в Никее. Его дед сражался в самом жарком бою при Гастингсе с Вильгельмом Нормандским, за что получил в награду земли и замок Сток-Режис в Гертфордском графстве, и его имя фигурирует ещё и теперь на стенах местного аббатства.

В продолжении десяти лет Стефан де Блуа царствовал в Англии с неравным счастьем, он был попеременно победителем и побеждённым и то удерживал своего сильного врага Роберта Глостера, в качестве заложника и узника, то иногда, сам подпадая под власть императрицы, бывал закован в цепи и томился в тюрьме Бристольского замка. Однако впоследствии счастье повернуло к нему, и хотя Глостер сохранил наружно военные отношения в интересах своей сводной сестры – он сражался за неё, пока был жив, – самая горячая гражданская война прошла; партизаны императрицы потеряли веру в успех её дела, которое увядало под сенью смерти. Английская аристократия разобрала со дня смерти короля Генриха характер Стефана. Его считали храбрым воином, неутомимым рубакой, милосердным человеком и слабым правителем.

Сначала вельможи были мало расположены к узурпатору, не обладавшему достаточным гением, чтобы зарекомендовать себя политической силой, чтобы поддержать свою блестящую храбрость. Их первым движением было отказаться от подчинения его авторитету и постыдно изгнать его, как самозванца. Только впоследствии, когда они были раздосадованы презрительной холодностью императрицы-королевы, то поняли, что управление Стефана гораздо приятнее, чем служба Матильде. Однако Глостер был могуществен и со своими верными вассалами, преданными слугами и с горстью верных независимых рыцарей был в состоянии сохранить под авторитетом сестры Оксфорд Глостер и большую часть северного графства Бёрк.

Теперь, в начале весны 1145 г., граф уехал со своей свитой, толпой каменщиков и работников на постройку нового замка. Его предполагали выстроить на высотах Фарингдона, где добрый король Альфред в память своей победы вырезал большую белую лошадь, сняв дёрн на песчаной горе. Глостер широко и смело набросал наружную стену и бастионы, вторую внутреннюю стену и громадную крепость, которая таким образом была защищена тройной оградой. Эту работу предстояло исполнить не в месяцы, а в недели, и если было бы возможно – скорее в дни, чем в недели. Все должно было составить сильный аванпост для новой кампании; для этого не берегли ни труда, ни денег. Глостер расположил лагерь сестры и свою собственную палатку на возвышенной лужайке, лежащей против замка. Оттуда он сам руководил и командовал. Оттуда же императрица Матильда, сидя под поднятым флагом своей императорской палатки, могла видеть серые камни, поднимавшиеся один над другим, ряд над рядом, глыба над глыбой. Они вырастали с лёгкостью, напоминавшей ей тот восточный фокус произведённый кудесником в тюрбане и виденный ею при дворе императора, когда фокусник из зёрна выращивал целое дерево с листьями и спелыми плодами пока поражённые придворные могли сосчитать до пятидесяти.

Туда, как на место общего свидания, несколько верных рыцарей и баронов, оставшихся преданными королеве, являлись засвидетельствовать своё почтение их государыне и пожать руку самому храброму и благородному из воинов, попиравшему ногами английскую землю. Раймунд Вард отправился туда же вместе с другими. Он захватил с собой единственного своего

сына Жильберта, которому в то время исполнилось восемнадцать лет; о нем главным образом говорится в этой хронике. Жена Раймунда, леди Года, осталась в замке Сток-Режис, под охраной двенадцати вооружённых слуг. Это были, большей частью, солидные ветераны войн короля Генриха. Но более действенную защиту для неё представляли несколько сот сильных вилланов, а также милиции, преданных душой и телом, готовых умереть за Раймунда и его семью. Во всем Гертфордском, Эссекском или Кентском графствах ни один нормандский барон или граф не был более любим своим саксонским народом, как владелец Стока. Таким образом, его жена чувствовала себя в безопасности, несмотря на его отсутствие, хотя очень хорошо знала, что только малая часть преданности относилась к ней.

Есть люди, которые проходят жизнь с выгодой только для себя, а не для других, благодаря преданности, которую им расточают близкие их родственники и самые дорогие их друзья. Они зависят от успеха чести и репутации тех, кто их нежно любит. Леди Года приписывала своему личному достоинству верную привязанность, которую саксонские вилланы её мужа питали к нему. Впрочем они были обязаны Варду этой привязанностью взамен его неизменной доброты и беспристрастной справедливости. Она перенесла на себя его заслугу, как это делают эгоисты, совершенно убеждённая, что это их долг, или, по крайней мере, готовая думать так, вполне зная, что она этого не заслуживает.

Она вышла замуж за Раймунда Варда, не любя его, но тщеславясь его именем, почестями и будущностью, которая казалась блестящей во времена доброго короля Генриха. Она дала ему единственного сына, который обожал её и в своём ослеплении питал к ней рыцарский культ, почти детский, так как она предлагала ему взамен материнское тщеславие за его внешность. Он принимал это чувство за любовь, хотя одно от другого было также далеко, как преданность от эгоизма, скарденность от великодушия. Ей исполнилось только шестнадцать лет, когда она вышла замуж. Она была самой младшей из многочисленных сестёр, оставшихся почти без приданого, когда их отец отправился в Святую Землю, откуда уже не возвратился.

Раймунд Вард полюбил её за красоту, действительно существующую, и за её характер, который был лишь созданием его собственного воображения. Он любил её со своей спокойной и бессознательной самонадеянностью, которая часто служит подкладкой характера людей простодушных и честных. Он упорно верил со дня своей женитьбы, что любовь его жены, если не была очень глубока и возвышенна, то все-таки сосредоточивалась на нем и Жильберте. Человек менее искренний и прямодушный открыл бы в конце года безусловную тщетность этих верований.

Этот брак жестоко обманул ожидания Годы относительно её настоящих вкусов и её тщеславия. Мечтавшая жить при дворе, она была осуждена существовать в деревне. Любя удовольствия, она была принуждена выносить скуку. Кроме того, владелец Стока был скорее силён, чем привлекателен, более внушительный, чем очаровательный. Он никогда не думал прибегать к лести, которой требуют, во что бы то ни стало, алчные и недовольные натуры, когда не удовлетворены их тайные стремления. В их природе – давать мало, также в их природе и их счастье – требовать много и брать все, что им попадает под руку. Также случилось и с Годой, принявшей сердечное великодушие мужа и любовь сына за естественную дань, должную ей, но которая не могла удовлетворить громадного аппетита её тщеславия. Впрочем, она брала все, дурное и хорошее, что попадалось на её дороге, особенно сердце рыцаря Арнольда Курбойля, двоюродного брата кантерберийского архиепископа, короновавшего Стефана, как короля, после того как первый принял присягу Матильде.

Арнольд был вдовец. Сначала он следовал примеру двоюродного брата и поддерживал дело короля Стефана. Он получил от него большие земли, ферму и лес в Гертфордском графстве, которые граничили с наследственными имениями Варда. Во время беспорядка и хаоса продолжительной гражданской войны Раймунд, не подозревая того, не раз предохранял маленький замок от осады и возможного истребления.

Вард в порыве своей верности законной государыне скорее избегал дружбы нового приверженца, чем делал авансы, чтобы её добиться. Но Раймунд кончил тем, что сдался на несколько насмешливые настояния жены и из чувства благодарности. Он открыл, что во время различных перипетий гражданской войны его сосед не раз, – хотя они были противоположных убеждений, – служил защитой для его вилланов, скота и жатвы против разграблений и уничтожения. Раймунд открыл эти поступки доброго соседства лишь при следующих обстоятельствах. Однажды во время соколиной охоты Варда с женой и Жильбертом, в то время настолько большого, что едва мог держаться в седле, их застала зимняя буря недалеко от владений сэра Арнольда. Последний, возвращавшийся в это время из путешествия, предложил им убежище в своём маленьком замке, находившемся поблизости. Там он должен был ночевать, и туда слуги привезли к нему маленькую дочь Беатрису. Раймунд принял это предложение ради жены, и обе семьи соединились в этот вечер у пылавшего огня в углу маленькой залы.

Пред ужином мужчины разговорились с той доверчивостью и весёлостью, которая существует почти всегда с первого раза между соседями одинакового положения. Леди Года довольствовалась лишь тем, что время от времени вставляла словечко.

Она сидела на стуле с высокой спинкой и сушила свою светло-голубую суконную юбку пред трещащими дровами. В это время Жильберт, цвет волос которого был, как у матери, а глаза, как у отца, вертелся вокруг величественной маленькой девочки со смуглым лицом. Она сидела немного в отдалении на табурете, одетая в зеленое суконное платье, покроя взрослой женщины. Две короткие косы чёрных волос висели позади маленькой шляпы, завязанной под подбородком с ямочкой. А в это время маленький мальчик в своей алой куртке и в зелёных суконных натянутых штанах ходил взад и вперёд, останавливаясь, опять уходя и снова останавливаясь пред ней, чтобы показать свой маленький охотничий нож. Он то вынимал его до половины из ножен, то глубже вбивал в них ловким ударом ладони, и чёрные глаза девочки следили за его движениями с важным и серьёзным любопытством.

Брата у неё не было, у него же – сестры. Оба они воспитывались без товарищей, так что один был новостью для другого. Когда Жильберт, поворачиваясь на одной ноге, подбросил свою круглую шапку до тёмного бревна потолка комнаты, освещённой огнём очага, маленькая Беатриса засмеялась с весёлым видом. Это подействовало на Жильберта, как бы приглашение. Он немедленно сел возле неё на скамье, держа свою шапку в руке, и начал её расспрашивать о её имени и о том, живёт ли она круглый год в замке. Вскоре они сделались добрыми друзьями и стали болтать об яйцах ржанки и о гнёздах зимородков, о том времени, когда у каждого из них будут свои собственные сокол, лошадь, собака и слуга.

Ужин окончился. Служанка увела маленькую Беатрису спать в комнату женщин. Управляющий фермой, его жена, стражи и слуги, ужинавшие и пившие в конце залы, отправились все в свои помещения, находившиеся во внешних постройках. Для Жильберта была сделана постель в углу близ огромного камина, состоявшая из большого, наполненного свежей соломой и положенного на сундуке полотняного мешка, покрытого простыней из тонкого голландского полотна. Через пять минут мальчик заснул под двумя толстыми шерстяными одеялами. Тогда оба рыцаря и дама остались одни в своих больших резных креслах. Но владелец Стока, будучи толстым и сильным, много съел и много выпил за ужином эля и гасконского вина; протянув свои ноги на каминную решётку, положив локтя на ручки кресел, соединив свои руки посредством больших и безымянных пальцев, он сблизил один за другим остальные. Мало-помалу музыкальный и лукавый голос жены и особенно нежный умильный голос хозяина, Арнольда Курбойля, перемешались и стали угасать, как раз в тот момент, когда двери царства сновидений закрылись за ним.

Леди Года, слишком уставшая, чтобы возвратиться домой, в этот вечер менее всего на свете хотела спать. Напротив, она глубоко заинтересовалась тем, что рассказывал ей сэр Арнольд. Сам же он был слишком умен, чтобы говорить незначительные вещи. Он рассказывал

о дворе, о людях, о высокопоставленных лицах, часто посещаемых им запросто, и с которыми леди Года так жаждала познакомиться. Время от времени он деликатно давал ей понять, что самая прославленная из красавиц при дворе короля Стефана не могла бы сравниться с ней, если бы её муж допустил уговорить себя оставить вышедшие из моды предрассудки и свою верность королеве Матильде.

Когда-то леди Года была представлена императрице, которая не обратила на неё большого внимания, в сравнении с интересом, оказываемым ею Раймунду. На банкете, следовавшем за официальным приёмом, леди Года была посажена между толстой немкой, вдовой, и итальянским аббатом, приехавшим из Нормандии. Они все время разговаривали на дурном латинском языке, что ей казалось грубым. Немка ела куски паштета из дичи ножом, вместо того, чтобы взять его пальцами, как должна была бы поступить воспитанная женщина до избречения вилок. На другое утро леди Года отправилась домой со своим мужем, и её жизненный опыт при дворе окончился так внезапно.

Если бы великий граф Роберт Глостер соблаговолил обратиться к ней со словом, вместо того, чтобы смотреть далеко от неё своими красивыми спокойными голубыми глазами на воображаемый пейзаж, – её впечатление о жизни при дворе императрицы было бы совсем иное. Тогда, может быть, она одобрила бы добродушие мужа. Но хотя она посвятила необычайный труд на убранство своих великолепных золотистых волос и дала с такой силой пощёчину неловкой парикмахерше, что у неё болела рука ещё три часа спустя, – все-таки могущественный граф обратил на неё внимание, как если бы она была простой саксонской молочницей.

Эта обида соединилась вместе с неудовольствием, причинённым неожиданным открытием, что сумочки, висевшие на поясе придворных дам императрицы, были в форме больших мандолин и при ходьбе почти волочились на своих шнурах, тогда как её была старинного покроя. Это наполняло её душу горечью против законной наследницы короля Генриха и делало безусловно непреодолимой преграду между ней и мужем. Она одна признавала её, а Раймунд даже не подозревал о ней. Он не только ей докучал сам, но даже допускал других досажать его жене. С этого дня у неё не осталось более даже тени малейшего расположения к нему.

Поэтому неудивительно, что она слушала с трепещущим восторгом все, что ей говорил сэр Арнольд. Она была счастлива, заметив меняющиеся выражение его нежного и гладкого лица, которое было столь полным контрастом со смелыми, строгими чертами владельца Стока, заснувшего глубоким сном возле неё.

Курбойль был польщён, как это случилось бы с каждым мужчиной, если бы его слушала долго и внимательно красивая женщина. Он также видел, что её красота была необычного рода и замечательна. Она была, правда, несколько резкая, слишком холодная, слишком похожая на мрамор, несмотря на её волосы почти золотого оттенка и на её рот, похожий на маленькую красную ранку. Она обладала в излишке физическими качествами для того, чтобы это казалось естественным, и однако не проявлялись ни недостатки, ни пятна. Она была слишком полна жизнью, чтобы не удовлетворить вкуса утомлённого удовольствиями мужчины той эпохи, видевшего общества от Лондона до Рима и от Рима до двора Генриха V.

Леди Года, со своей стороны, видела в нем тип, к которому её повлёк бы инстинкт, если бы она была свободна выбрать себе мужа. В противоположность человеку дела, говорящему мало и питавшему только сильные чувства, он показал себя светским человеком со всех точек зрения. Одно его разнообразие уже было очарованием, а мысль о его значительной опытности была для неё как бы таинственным обаянием. Сверх того, Арнольд Курбойль был тактичным человеком, легко впечатлительным, привыкшим к тщеславию женщин и ловким в искусстве возбуждать это тщеславие, никогда не удовлетворённое, что составляет основание большей части несовершенных женских характеров. В нем не было никакой слабости, или, по крайней мере, он был столь же храбр, как большинство мужчин; кроме того, он лучше всех владел оружием. Его маленькая рука, прекрасного очертания, оливкового оттенка, умела нанести удар

шпагой быстрее Раймунда Варда, и он также уверенно достигал цели, хотя казался менее сильным. На седле он не обладал силой в колене и не мог ужасным давлением заставить лошадь дрожать и стонать, но не многие рыцари его времени были более ловкими в искусстве представить посредственную лошадь в выгодном для неё свете. Он учил хорошего коня пользоваться своими силами до последней степени. Когда Вард ездил на лошади шесть месяцев, она была обыкновенно потеряна и разбита на передние ноги, если не совсем мертва. Курбойль же ездил на той самой лошади в два раза дольше и удваивал её качества. Также было и во многих других отношениях. С одинаковыми шансами один, казалось, растрачивал добро без выгоды для себя, другой же оборачивал все в свою личную пользу.

Стоя Арнольд был едва среднего роста, но сидя он не был так мал. Как большинство мужчин незначительного роста, он посвящал беспрестанные тщательные заботы своей личности, что в результате вознаграждало этот недостаток. Его тёмная борода была подрезана остроконечно и так заботливо причёсана, что напоминала одно из тех гладко подстриженных деревьев, представлявших павлинов и драконов, которые были гордостью итальянских садовников во времена Плиния. Волосы он носил полудлинные; их шелковистые пряди были заботливо разделены пробором по середине головы и отброшены назад густыми волнами. Было что-то почти раздражающее в их неестественном лоске, в совершенно прозрачном и здоровом оливковом цвете лица этого человека, в длинных дугообразных бровях, в совершённом довольстве самим собой и в доверчивости, блестящей в его красновато-карих, несколько нахальных глазах. Его шея, крепкая и круглая, довольно пропорциональная, хорошо расположенная на его плечах и гладкая, как его лоб, выгодно выделялась, благодаря восхитительной золотой вышивке, окаймлявшей рубашку тончайшего фламандского полотна. На нем был кафтан в обтяжку из прекрасного алого сукна, с узкими рукавами, слегка отвороченными, чтобы оставить на виду его кисть. Великолепная португеза стягивала его кафтан на талии. Она состояла из серебряных, эмалированных колец и пластинок работы искусного византийского артиста. На каждой пластинке была изображена в богатых красках одна из сцен жизни Иисуса Христа и его Страстей. Длинная шпага с крестообразной рукояткой-чашкой для руки была прислонена к стене возле большого камина. Кинжал же, чудо работы, висел на португее; он был тем более замечателен, что отличался чудной закалкой – триумф восточного искусства, так как почти все искусства были в то время восточные.

На солидной золотой рукоятке восьмисторонней и с восемью зарубками был вычеканен великолепный рисунок, глубоко усыпанной неотделанными драгоценными камнями, усаженными с искусной неправильностью. Чашка рукоятки состояла из стального диска с золотой гравировкой и нарезками.

Длинное, как мужская рука, лезвие, от локтя до кисти, было выковано из серебра и стали дамасским оружейником. Оно было устойчиво, тонко, с глубокими желобками для крови, выдолбленными по обеим сторонам на расстоянии четырех пальцев от острия, которое могло прокалывать так деликатно, как иголка, или просверливать тонкую кольчугу, как гвоздь, вбиваемый тяжёлым молотком.

Его кафтан ниспадал мягкими складками до колен, и суконные панталоны, очень натянутые, были темно-коричневого цвета. Сэр Арнольд носил короткие ботфорты пурпурового цвета кожи, вышитые наверху тонким алым шнурком. Привязи шпор были того же цвета, как и сапоги, а сами шпоры – стальные, маленькие, заострённые, прекрасной чеканки.

Прошло шесть лет с того вечера и, однако, когда леди Года закрывала глаза и мечтала об Арнольде, то видела его таким, как он представлялся ей тогда. Пред ней оживали каждая черта его лица, каждая подробность его туалета, его поза, когда под горячими лучами камина он сидел возле неё в своём кресле, несколько склонившись вперёд. Его голос мог казаться тогда монотонным для уха спящего, но не для её слуха. Между Вардом и Курбойлем состоялось знакомство почти насильно, благодаря обстоятельствам и взаимным обязательствам, но

оно никогда не доходило до близости и доверчивости со стороны Варда. Со стороны же сэра Арнольда это была ловкая комедия, скрывавшая разрастающуюся ненависть к мужу леди Годы. И она играла так же хорошо свою роль, как и он. Союз, в котором честолюбие занимает место любви, не может существовать, когда честолюбие обмануто. Она не терпела своего мужа, уничтожившего её безумные надежды. Она презирала его за то, что он не извлёк ничего из своих многочисленных качеств и своих преимуществ, за его привязанность к устарелому и вышедшему из моды делу. Она упрекала его, что он, много видя, ничему не научился. Это делало богатыми его глаза и бедными – руки. Она ненавидела его потому, что он был неповоротлив, обладал доброй натурой, добрым сердцем, был простаком для тех лиц, которые хотели от него чего-нибудь добиться.

Она с горечью размышляла, что если бы она обождала семь, восемь лет удачного случая, то для неё выпало бы счастье иметь мужем вдовца Арнольда, двоюродного брата архиепископа кантерберийского, Она достигла бы фавора вместе с победителями в гражданской войне и была бы соединена с человеком, сумевшим польстить её холодной натуре вымышленными чувствами, вместо того, чтобы растрачивал на неё уважение, почти преувеличенное, каким её окружал со своей благородной страстью Раймунд. Для большинства женщин это почтение становится в конце необъяснимо надоедливым.

Сколько раз в течение этих шести лет она встречалась с сэром Арнольдом и беседовала, как в первый вечер. Однажды, когда императрица Матильда захватила в плен короля Стефана, и дело приняло дурной оборот для его приверженцев, Вард настоял, чтобы его сосед приехал в Сток-Режис, более надёжный, чем его замок. Другой раз, когда победа была на стороне короля Стефана, и Раймунд отчаянно сражался под начальством Глостера, леди Года отправилась со своим сыном и некоторыми из женщин просить защиты у Арнольда, бросив свой замок на произвол.

Сначала Курбойль беспрестанно делал вид, что восторгается физическими и нравственными качествами Варда, но мало-помалу он с тактом изменил манеру и довёл леди Году до признания, что она страдает или воображала, что страдает, – это для некоторых женщин одно и то же, – будучи связана на всю жизнь с человеком, которому не удалось удовлетворить её высокочестолюбивых стремлений. Затем в один прекрасный день было произнесено великое слово «любовь», и они никогда не переставали надеяться, что Вард умрёт преждевременно.

В продолжении этого времени Жильберт сделался из маленького мальчика молодым человеком. Он обожал свою мать, как высшее существо, но отца любил с тем глубоким инстинктом взаимного согласия, которое делает любовь и ненависть ужасными между самыми близкими родственниками.

С течением времени Беатриса выросла, сделалась гибкой и бледной, Жильберт и она любили друг друга, что было естественно, так как они оба воспитывались без товарищей и часто находились вместе в продолжение многих дней в уединённом существовании средневекового замка.

Может быть, Жильберт никогда не отдавал себе отчёта, что его любовь к матери была результатом добровольного разрешения леди Годы, чтобы он любил Беатрису. Но необходимость подготовить брак служила благовидным предлогом для продолжительных бесед хозяйки замка с сэром Арнольдом. Он сделался необходимой и самой важной частью в жизни леди Годы. Это способствовало, что визиты Арнольда и частые встречи во время сезона соколиной охоты казались естественными в глазах Раймунда.

Охотясь с сэром Арнольдом, Раймунд не раз счастливо отделялся от опасности. Так, однажды почти неожиданно он встретился лицом к лицу со старым кабаном; когда он наклонился, чтобы нанести кабану удар снизу вверх, то его жена и Арнольд находились шагах в двадцати позади него. Они все трое отделились от других охотников. Заметив положение мужа и окружавшее их уединение, леди Года обратила выразительный взгляд на своего спутника.

Секунду спустя охотничье копьё Арнольда направилось прямо, как стрела в спину Раймунда. В этот момент кабан бросился на Варда, но последний отскочил и, упав на колена, исполосовал ножом животное. Охотничье копьё Арнольда безвредно проскочило над головой Варда и затерялось в сухих листьях, в двадцати метрах от того места.

В другой раз Раймунд ехал на лошади с соколом на плече и по своему обыкновению в десяти шагах от других спутников. Он не заметил, что они отстали. Когда он скакал по узкой лесной тропинке и посмотрел вокруг, он увидел, что находится один. Он тотчас же повернул лошадь, чтобы присоединиться к другим охотникам. Едва она сделала несколько шагов, как внезапно три замаскированных человека, которых он принял за воров, выскочили из чащи и бросились на него с длинными ножами. По счастью разбойники плохо рассчитали расстояние и время когда они были довольно близко, чтобы ударить Варда у него уже была в руках шпага. Первый из напавших упал мёртвым; остальные скрылись, одни с глубокой раной в плече, другой же не нанес ни одного удара. Раймунд удалился, не получив ни малейшей раны и размышляя о превратности судьбы. Когда он приблизился к своей жене и другу, он нашёл их сидевшими один возле другого на упавшем дереве и очень серьёзно разговаривавшими вполголоса, тогда как сокольничие и слуги собрались небольшой группой в отдалении.

Услышав его голос, леди Года задрожала и слегка вскрикнула, лицо же Арнольда побледнело; но когда он подъехал к ним, они снова, по-видимому, успокоились и улыбались. Они спросили его, не заблудился ли он; но Раймунд ничего не рассказал о приключении, опасаясь подействовать на нежные нервы своей жены. Позже, на следующую ночь, когда сэр Арнольд был один в своей комнате, бледный, как смерть, человек, ослабленный от потери крови, поднял толстую занавесь и рассказал вполголоса о приключении.

II

Таким образом, Раймунд и его сын отправились в графство Бёрк на постройку большого Фарингдонского замка. Сэр Арнольд оставался в своей крепости, откуда он очень часто ездил в Сток и проводил долгие часы с леди Годой в зале и в садике, тянувшемся вдоль рва. Капеллан, управляющий, воины и привратник привыкли видеть его часто там, когда был Раймунд: они не думали про него дурного, так как он теперь приезжал, чтобы составить общество одинокой хозяйке замка, а нравы того времени были просты.

Но, однажды утром, в конце апреля туда прибыл посланный короля Стефана с приказанием, чтобы все графы, бароны, баронеты и рыцари со своими воинами под присягой верности присоединились к нему в Оксфорде. Для формы посланный отправился в Сток-Режис, не допуская, чтобы какой-нибудь нормандский рыцарь не был партизаном короля. Подъёмный мост был опущен, и он проник чрез ворота и, протрубив три раза, передал поручение. Тогда управитель с глубоким поклоном ответил, что его господин отправился путешествовать, и посланный, повернув коня, уехал, ничего не выпив и не скушав.

Но, явившись в замок Стортфорд, он нашёл сэра Арнольда, вручил ему приказ короля с большим торжеством и был принят с обычным гостеприимством. Арнольд медленно оделся в кольчугу, но не надел своего шлема, так как был необыкновенно жаркий день, и он предпочёл путешествовать в маленькой шапке, чем в тяжёлой стальной каске с широким забралом. Прежде чем прошёл час, он уже был на лошади во главе своих воинов и лакеев, идущих впереди и позади него по большой Гертфордской дороге. Но он тайно отправил к леди Года посланного с извещением, что он отправился. И она не слышала более о нем в продолжении многих дней.

Ежедневно утром, после обеда и перед закатом солнца, она отправлялась в маленький сад к западной стене замка. Долго она смотрела там на дорогу, но не потому, что желала возвращения мужа, не потому, что озабочивалась возвращением Жильберта, но она знала, что их возвращение будет вестником конца войны. Тогда Арнольд будет также свободен вернуться домой.

5-го мая, когда зашло солнце, она оставалась неподвижна с глазами, устремлёнными на дорогу, уже десятый раз после отъезда Курбойля. Она чувствовала свежесть сырого вечернего воздуха, но что-то её удерживало: необъяснимое предчувствие, ожидание чего-то. Вдали, на верху гористой дороги, она заметила искру, маленькое пламя, танцевавшее, как фантастические огоньки, перебегающие в летнюю ночь по могилам. Сначала она увидела один, затем вдруг три и множество. Потом тёмная и плотная масса выделилась на красноватом небе. Огоньки походили на маленькие звёздочки, поднимавшиеся и спускавшиеся на горизонте, и все над чёрными низкими облаками. Минуту спустя западный ветерок донёс до леди Годы гармоничное пение и удержал в её ушах нежные высокие ноты молодых голосов, опиравшиеся на богатом басы мужских голосов.

Леди Года взволновалась и, задержав дыхание, слегка вздрогнула. Она так схватилась за розовый куст, наводившийся вблизи неё, что иглы проникли чрез мягкий зелёный суконный наручник и укололи её до крови, хотя она ничего не почувствовала. Смерть носилась в воздухе, смерть была в движущихся огоньках, смерть в минорных рыданиях хора монахов. В первый момент, плохо сознавая, леди Года подумала, что несут сэра Арнольда, убитого в сражении её собственным мужем или сыном. Это ей несли Арнольда, подумала она, к ней, которая его любила, чтобы она омыла его раны своими слезами и осушила его влажный лик своими прекрасными волосами. С широко раскрытыми глазами и молчаливая, пока приближалась процессия, она двинулась ей навстречу вдоль рва к подъёмному мосту. Она ещё не понимала, но ни одно движение людей, ни одно колебание света, ни одна нота зауспокойного пения не ускользнули от её ослабевших чувств.

Вдруг она заметила, что впереди гроба шёл Жильберт с обнажённой головой, наполовину завернутый в чёрный плащ, который волочился по траве. Когда она обогнула последний бастион, прежде чем достичь подъёмного моста, погребальное шествие подвигалось по внешнему берегу рва; и между ней и процессией было только водяное пространство, отражавшее пламя восковых свечей, тёмные капюшоны монахов и белые стихари певчих детей. Они подвигались медленно, и леди Года, как бы во сне, следовала за ними тихими шагами по другой стороне, поражённая, опасавшаяся и дрожащая. Она то испытывала странное чувство освобождения, то сдерживала рыдание, наполовину нервное, наполовину искусственное, сжимавшее ей горло при мысли о покойнике, находившемся столь близко от неё.

Она жила с ним и разыгрывала долгую комедию любви, ненавидя его в сердце, она улыбалась ему глазами двойственности и лжи: теперь же она была свободна выбирать и любить, – свободна сделаться женой сэра Арнольда. Однако, она все-таки жила с покойным, и в далёком прошедшем леди Года отыскивала маленькие просветы счастливой нежности, наполовину действительные, наполовину разыгранные, но никогда не забываемые, на которых она научилась останавливать свои мысли с нежностью и печалью. Она любила покойника в первые дни их брака, насколько её холодная натура, ещё не проснувшаяся, была способна любить, если не лично ради него, то, по крайней мере, из-за тщеславных надежд, построенных на его имени. Тайно она ненавидела его; она не питала бы к нему столь искренней ненависти, если бы в её сердце не было зёрна любви, чтобы так страшно ожесточиться против него. Она не могла бы решиться заставить свои глаза улыбаться так нежно если бы когда-то она не улыбалась, чтобы нравиться ему. Таким образом, когда принесли мёртвого к дверям его дома, его жена имела ещё в запасе несколько крошек воспоминания, чтобы выказать хоть тень огорчения.

Она вошла, следуя чрез подземный выход, в маленькую, круглую башню, помещавшуюся около ворот. Леди Года знала, что если бы она вышла из-за опускной решётки, то погребальное шествие было бы как раз на другой стороне моста. Ширина маленькой сводчатой комнаты нижнего этажа башни была только в четыре шага. В ней было почти темно, и леди Года оставилась в ней на минуту, прежде чем выйти навстречу погребальному шествию. Стоя в темноте, она изо всей силы прижимала к глазам свои руки в перчатках, как бы для того, чтобы бороться с мыслями.

Затем она снова опустила их, посмотрела в темноту и почти засмеялась; что-то в глубине её сердца душило её, как бы большая радость. Почти тотчас же она сделалась спокойна и ещё раз прижала к глазам свои руки в перчатках, но уже нежнее, как бы приготовляя их к тому, что они вскоре увидят.

Она открыла маленькую дверь и очутилась среди испуганной и возбуждённой толпы мужчин и слуг, в то время, как последняя нота похоронного пения прозвучала под глубокими сводами. В это время воздух пересёк другой звук... звонкий лай большого дога, находившегося во дворе, на цепи, от восхода до заката солнца; лай перешёл в визг, визг в вой, в зловеющий вой, раздражавший уши. Прежде, чем он затих, одна из саксонских рабынь громко вскрикнула, за ней повторила другая, затем другая и ещё другая, подобно погребальному пению. Все камни тёмного замка, казалось, имели голос, и каждый из этих голосов оплакивал своего господина. Многие женщины падали на колени, а равно и мужчины, тогда как другие, подняв свои капюшоны, стояли, прислонившись в толстой стене, склонив голову и скрестив руки.

Медленно и торжественно внесли гроб под средний свод и поставили там. Тогда Жильберт Вард, подняв голову, очутился лицом к лицу с матерью, но он посторонился, чтобы она могла видеть своего мужа. Монахи и дети хора тоже расступились со своими восковыми свечами, которые бросали колеблющийся свет сквозь тёмные сумерки. Лицо Жильберта было строго и бледно. Леди Года тоже была бледна, и её сердце билось, так как ей предстояло разыграть последний акт своей супружеской жизни перед толпой слуг, внимательно наблюдавших

за ней. В продолжение момента она раздумала про себя, колеблясь: вскрикнуть или упасть в обморок в честь умершего мужа.

Затем с инстинктом природной, безукоризненной актрисы, её глаза с безумным видом переходили с сына на прямую, длинную массу, скрытую под покровом. Она поднесла руку ко лбу, откинула свои золотистые волосы назад наполовину безумным, наполовину помрачённым шестом, сделала два шага, как бы шатаясь, и упала на труп с громкими криками и рыданиями. Затем она более не двигалась.

Жильберт приблизился к гробу и схватил руку, одетую в перчатку, которой его мать закрыла своё лицо, которая неподвижно упала. Он приподнял чёрный суконный покров и как можно более откинул его, не тревожа распростёртой вдовы. Владелец Стока лежал в кольчуге, так как он пал в минуту сражения, со своим стальным шлемом и тонким забралом кольчуги, надвинутым на его лицо и подбородок. Чёрные шелковистые волосы, лежавшие вокруг лица мертвеца, имели страшно живой вид. Но на глазах и лбу, под шлемом, была надетая чёрная повязка; на его груди большие руки, закрытые кольчугой, сжимали шпагу с крестообразной рукояткой. С обнажённой головой и без оружия Жильберт созерцал с минуту лицо отца, затем вдруг подняв глаза, он обратился к толпе, теснившейся под сводами со следующими словами:

– Люди Стока, вот тело сэра Раймунда Варда, вашего господина и моего отца. Он пал в сражении перед Фарингдонским замком. Вот третий день, как он убит, но дорога была долгая, и нам не позволили пройти без препятствий. Замок был построен лишь наполовину, и мы расположились вокруг него лагерем с графом Глостером, когда внезапно явился король с большой армией. Они неожиданно бросились на нас рано утром, когда мы только что отправлялись к мессе, и большая часть из нас была лишь отчасти вооружена или совсем не вооружена, так что мы сражались, как могли. Многие из нас были убиты, но немало пало от нашей руки. И я со шлемом на голове и с кирасой, на половину застёгнутой на моем теле, и с голыми руками сражался с одним французом, вполне вооружённым, который меня очень теснил. Но я ударил его в шею, так что он пошатнулся и упал на колено. В этот самый момент я увидел нечто ужасное, в двадцати шагах предо мной встретились лицом к лицу сэр Арнольд и мой отец. Внезапно и без предупреждений их шпаги поднялись для удара. Когда уже мой отец узнал своего друга, он опустил шпагу, улыбаясь, и хотел удалиться, чтобы сразиться с другим. Но сэр Арнольд тоже улыбнулся и не опустил своей руки. Он ударил отца остриём, когда тот не принял предосторожностей, и одним ударом изменнически вонзил лезвие сквозь забрало. Вот как мой отец, а ваш господин, пал мёртвым, без исповеди, от руки друга, и пусть проклятие человека и осуждение всемогущего Бога падёт на голову убийцы теперь и потом, когда я убью его. В момент, когда я на него бросился, француз, бывший только в обмороке, поднялся на ноги и поспешил снова со мной сражаться. Таким образом, в момент, когда ему не хватало дыхания и свет угас в его глазах, сэр Арнольд удалился с поля сражения и был потерян для нас. Тогда мы сделали перемирие, чтобы похоронить наших мертвецов или унести их.

Когда Жильберт говорил, было полное безмолвие, длившееся много минут и прерываемое лишь беспрестанными рыданиями леди Годы, пришедшей в себя. Внутри двора и вне его, на мосту, небо сделалось багровое, затем тёмное и пасмурное, так как солнце исчезло уже давно. Пламя восковых свечей, поднимаясь, опускаясь и колеблясь от вечернего ветра, становилось сильнее и желтее под сводами.

Монахи в тёмном одеянии строго смотрели вокруг себя, ожидая приглашения войти в часовню. Это были люди всевозможных лет, розовые и бледные, худые и толстые, темноволосые и белокурые, все они имели на лицах нечто, отличавшее людей церкви во все века.

Жильберт стоял молча между ними и мёртвым рыцарем, поникнув головой, с опущенными глазами, бледным лицом и с сжатыми губами. Он глядел на прекрасные волосы своей матери и на её сжатые руки, прислушиваясь к её затруднённому дыханию, беспрестанно пре-

рываемому тяжёлыми рыданиями. Внезапно снова послышался ужасный, звонкий лай собаки, и в то же время громкий, дрожащий голос раздался со двора чрез глубокие своды.

– Сожжём убийцу! В Стортфорд и сожжём его!

Жильберт поднял глаза и посмотрел сквозь мглу, отыскивая, кто говорил. Он не видел, что при этих словах его мать задрожала, откинулась телом, опершись рукой и устремив глаза по тому же направлению, как и сын. Но прежде, чем Жильберт мог ответить, крик был повторён сотней голосов.

– Сожжём изменника! Сожжём убийцу! В Стортфорд! Хворосту и смолы!

Слова следовали, то громкие и ясные, то тихие и хриплые, одни за другими, как некое рычание. Тут и там среди этих грубых людей заблестели в темноте глаза, как у собак.

Тогда среди сумятицы раздался звук отодвигаемых засовов и скрип дверных петель: это конюхи отворяли двери конюшен, чтобы вывести лошадей и оседлать для экспедиции. Один просил огня, другой предупреждал остерегаться ударов копыт его лошади. Леди Года поднялась, протянув руки к сыну с умоляющим видом, инстинктивно повернувшись к нему в первый раз, как к главе дома. Она также ему говорила, но он ничего не видел и не слышал, так как в глубине его сердца возник новый ужас, в сравнении с которым все случившееся раньше было ничто. Он подумал о Беатрисе.

– Остановитесь! – воскликнул он. – Чтобы никто не двигался! Никто не выйдет отсюда, кто хочет сжечь Стортфорд! Сэр Арнольд Курбойль – подданный короля, а в Англии царствует король, так что, если мы сожжём Стортфорд сегодня вечером, они сожгут завтра же замок Сток, вместе с моей матерью. Между Арнольдом Курбойлем и мной – смерть; завтра я отправлюсь его искать и убью в честном бою, чтобы не было ни экспедиции, ни грабежа, ни пожара. Не будем действовать, как действовали бы французские разбойники Стефана, или красноносовые шотландцы короля Давида. Подымите гроб, а вы, – сказал он, оборачиваясь к монахам и певчим, – продолжайте своё пение, чтобы мы могли поставить в часовню тело моего отца и спеть молитвы за упокой его Души.

Леди Года сначала прижала свою левую руку к сердцу, как бы испытывая опасение и страдание, но пока Жильберт говорил, она опустила её, и её лицо сделалось спокойно, прежде чем она вспомнила, что оно должно быть печально. До этого дня в её глазах сын был ребёнком, подчинённым отцу, ей и старому капеллану замка, научившему его тому немногому, что он знал. Теперь он достиг возмужалости и был силён; более того: он был хозяином в доме отца, и по одному его слову воины и вилланы отправились бы моментально убивать любимого ею человека и сжигать и грабить все принадлежавшее ему. Она была ему благодарна, что он не произнёс этого слова, и если Жильберт имел намерение встретить Курбойля в поединке, то она не опасалась за любовника, самого ловкого бойца на шпагах в Эссекском и Гартфордском графствах. Она считала себя одинаково обеспеченной и относительно его репутации честного рыцаря, который не пожелает убить противника, на половину моложе его.

В то время, как она думала обо всем этом, монахи снова начали похоронное пение, на дворе прекратилась суматоха, конюхи подняли гроб, и погребальное шествие медленно направилось по широкому двору к большому дверям часовни.

Час спустя тело сэра Раймунда было поставлено перед алтарём, на котором горели многочисленные восковые свечи. На самой низшей ступени, сложив руки и подняв глаза к небу, стоял на коленях один Жильберт. Он снял длинную шпагу с груди покойника, поставил её стоймя, обнажённой против алтаря, края лезвия были зазубрены, и тёмные пятна крови, оставшиеся на ней, служили воспоминанием последней кровавой работы её владельца.

В простоте веры того кровавого века, Жильберт Вард перед алтарём Бога, божественным телом Христа и перед чтимым им трупом его отца клялся всем дорогим для него и его домашних, что прежде чем лезвие будет снова вычищено, оно почернеет от крови убийцы его отца.

В то время как он стоял там на коленях, его мать, уж одетая вся в чёрное, вошла в часовню и медленно стала приближаться к ступеням алтаря. Она намеревалась опуститься на колени возле сына, но, когда её разделяли от него только три шага, ужасный страх её собственной лжи снизошёл в её сердце; она упала на колени посреди часовни.

III

Рано утром Жильберт ехал верхом по дороге к Ширингскому аббатству Стартфордского замка. На нем был кафтан, штаны и коричневые кожаные сапоги. С боку у него висела шпага отца, так как он не имел намерения убить своего врага, но драться с ним на смерть в честном равном бою. Жильберт предполагал, что сэр Арнольд должен был возвратиться из Фарингдона, если бы он встретил его прогуливающимся по своим владениям, то в это майское утро он, не подозревая ничего, был бы без кольчуги. Если они не встретятся, то Жильберт доедет до дверей замка, спросит барона и вежливо предложит ему отправиться вместе в лес. Жильберт надеялся, что могло случиться и так: вступив под своды ворот, он, может быть, увидит на минуту Беатрису.

По дороге он никого не встретил. В долине же перед замком с полдюжины саксонских конюхов в открытых грубых и коротких кафтанах учили нескольких больших нормандских лошадей Курбойля. Они сказали Жильберту, что барон дома. Переехав подъёмный мост, Жильберт остановился, прежде чем войти в ворота, и громко позвал привратника. В тот момент вместо него на дворе появился сам сэр Арнольд. Он пришёл, чтобы дать группе громадных дворовых собак сырой кровяной говядины, лежавшей в деревянной чашке, принесённой маленьким босым конюхом, с густыми, почти бесцветными волосами и с круглым красным лицом. Жильберт снова позвал; рыцарь тотчас обернулся и приблизился к юноше, отталкивая громадных собак, бросившихся к нему играя и пробовавших заставить его отодвинуться.

Сэр Арнольд был спокоен. Он улыбался и был, как всегда, старательно одет. Он приблизился со сложной улыбкой, в которой гостеприимство смешивалось ловко с интересом и симпатией, Жильберт, который тоже был настоящим нормандцем по инстинкту и по мысли, как ни один из получивших земли от завоевателя, со своей стороны сделал все, чтобы остаться спокойным и учтивым. Он сошёл с лошади и сказал, что желает говорить с сэром Арнольдом по важному и секретному делу. Утро было прекрасное, и он предложил ему отправиться на прогулку в лес. Сэр Арнольд выказал лишь лёгкое удивление и поспешно согласился. Жильберт, не отступая от своего плана, заметил, что у рыцаря нет при себе шпаги.

– Было бы хорошо, если бы вы взяли вашу шпагу, сэр Арнольд, – сказал он несколько загадочным тоном. – Никто не защищён от воров больших дорог в это время.

Рыцарь встретил глаза Жильберта, и оба молча смотрели пристально друг на друга в продолжение момента. Затем Курбойль послал конюха за шпагой, находившейся в большой зале. Сам же он приблизился к подъёмному мосту и закричал одному из конюхов, чтобы подали лошадь. Менее чем через полчаса после того, как Жильберт прибыл в замок, он и его неприятель ехали спокойно друг возле друга через светлую лужайку Стортфордского леса. Жильберт натянул поводья и пустил шагом лошадь. Сэр Арнольд тотчас сделал то же. Тогда Жильберт заговорил;

– Сэр Арнольд Курбойль, теперь уже прошло целых три дня, как вы изменнически убили моего отца.

Сэр Арнольд задрожал и полуобернулся на своём седле: его оливковая кожа сделалась внезапно бледной от гнева; нежное и свежее лицо Жильберта не изменилось.

– Изменнически? – повторил рыцарь с негодованием и вопросительным тоном.

– Подлым образом! – настаивал Жильберт совершенно спокойно. – Я был менее чем в двадцати шагах от вас, когда вы встретились с ним, и если бы мне не помешал один француз из ваших, который бессмысленно медленно умирал, я спас бы жизнь отца или взял бы вашу, что сделаю теперь.

При этих словах Жильберт остановил лошадь и приготовился сойти, так как газон был ровный, густой, и было довольно места для поединка.

Сэр Арнольд захохотал, оставаясь неподвижно в седле и оглядывая молодого человека.
– Так вы меня завлекли сюда, чтобы убить? – сказал он.

И его весёлость прекратилась.

Нога Жильберта уже была на земле, но он остановился.

– Если эта местность вам не нравится, – сказал он, – мы отправимся дальше.

– Нет, нет, я нахожу, что здесь очень хорошо, – возразил он.

Но прежде чем окончить фразу, он снова разразился смехом.

Они привязали своих лошадей к деревьям невдалеке, на небольшом расстоянии друг от друга. Жильберт первый занял позицию. На ходу он вынул из ножен шпагу отца, снял ножны с пояса и бросил их на траву. Сэр Арнольд тотчас же встал против него, но левая его, рука была только положена на головку шпаги. Он все ещё продолжал улыбаться, когда остановился перед своим молодым противником.

– Я ничего не возразил бы относительно поединка с вами, если бы я убил вашего отца изменнически, но я этого не сделал. Я видел вас, как вы меня. Ваш француз, как вы называли его, заслонял вам сцену; или ваш отец был вне себя, в своём пылу сраженья, или он не узнал меня под моей кольчугой. Он склонил на секунду лезвие, затем бросился на меня, как бульдог, так что я мог спасти себя, только убив его, против моего желания. Я не буду сражаться с вами, разве только вы принудите меня, и вы сделаете лучше, воздержавшись от этого, так как, если вы будете упорствовать, то я уложу вас в два приёма.

– Прекрасное совокупление хвастовства и лжи, – ответил Жильберт, вставая в позицию. – Вынимайте шпагу, прежде чем я сосчитаю до трех, или я распотрошу вас, как курицу. Раз... два...

Прежде чем последнее слово сошло с его губ, шпага сэра Арнольда появилась из ножен, столь же блестящая, как если бы она вышла из рук оружейника, и скрестилась с зазубренным и запятнанным кровью лезвием Жильберта.

Сэр Арнольд был храбрый, но осторожный человек. Он ожидал увидеть в Жильберте неловкого новичка, хвастуна и смельчака, подвергавшегося опасности в надежде нанести хорошо направленный удар или начать отчаянное нападение. Вследствие этого он не пробовал привести в исполнение свою хвастливую угрозу, так как Жильберт был выше его, сильнее и моложе на двадцать лет. Притом на нем не было кольчуги, а только штаны и кафтан. Сильный удар шпаги взбешённого молодого человека мог выбить его из позиции и наполовину заколоть.

Но Курбойль отчасти ошибся, Жильберт, хотя молодой, был одним из тех фехтовальщиков, наделённых природным даром, движения кисти руки и плеча которых безусловно одновременно с сознанием глаза; они не обдумывают каждого своего движения, заботясь о тактике. Менее чем через полминуты сэр Арнольд понял, что он сражается, защищая свою жизнь. Не прошло и минуты, как внезапно он почувствовал, что зазубренное лезвие шпаги Жильберта проникло в большой мускул его правой руки, а его собственное лезвие выпало из его обессиленной руки, скользнув около противника.

В то время не было постыдным нанести удар обезоруженному противнику в поединке насмерть. Когда сэр Арнольд почувствовал, как грубая сталь была выдернута обратно из его раны, он понял, что следующий удар будет для него смертельным. С быстротой молнии левой рукой он вынул длинный кинжал, висевший у него с боку, и Жильберт, поднявший шпагу, чтобы нанести удар, получил впечатление, как будто холод пронзил его грудь; рука его задрожала, и он уронил шпагу. Красный туман спустился перед его глазами; кровавая пена хлынула волной из его рта, и он навзничь упал на зелёный газон. Сэр Арнольд попытался и посмотрел со странным любопытством на распростёртое тело, прищуриваясь, как это делают близорукие. Затем, когда задыхавшаяся грудь перестала вздыматься, а бледные руки недвижно лежали на траве, сэр Арнольд пожал плечами и стал заботиться о своей ране. С помощью дубовой ветки он стянул вокруг своей руки один из кожаных ремней, взятых с седла Жильберта. Потом он

сорвал левой рукой горсть травы и попробовал держать кинжал в правой, чтобы вычистить покрасневшую сталь. Но эта рука была бессильна, так что он, встав на одно колено возле тела Жильберта, провёл кинжалом два или три раза по подолу его тёмного кафтана, прежде чем положить оружие в ножны. Он поднял свою шпагу, и ему удалось вложить её в ножны. Затем он сел на лошадь, оставив коня Жильберта привязанным к дереву, бросил последний взгляд на неподвижную массу, распростёртую на земле, и направился к Стортфордскому замку.

IV

Спустя два месяца после того, как сэр Арнольд Курбойль оставил Жильберта Варда в лесу, считая его мёртвым, под тёмной тенью монастырских галерей, окружавших сад Ширингского аббатства, шёл высокий молодой человек, опираясь на плечи двух монахов «серого братства». Он был так бледен и худ, что походил скорее на призрак. Один из братьев нёс коричневую кожаную подушку, а другой – кусок грубого пергамента, служившего вместо веера. Когда они достигли первой каменной скамьи, они поместили больного как можно удобнее.

Три монаха-путешественника, возвращавшиеся из Гарло в Ширингское аббатство коротким путём, через лес, нашли Жильберта плававшим в своей крови, десять минут спустя после отъезда рыцаря. Не зная, кто он был, они взяли его в аббатство, где юношу тотчас же узнали монахи, составлявшие погребальное шествие в предыдущий вечер, и другие лица, которые его также видали.

Брат, на обязанности которого лежало ухаживать за больными, был прежде солдатом и имел шрамы от дюжины ран. Как недурной хирург, он объявил положение Жильберта почти безнадежным и уверил аббата, что возвращение юноши в его замок будет верной смертью для молодого владельца Стока. Его положили на новую кровать в высокой комнате с широкими полукруглыми окнами на запад. Братья ожидали, что Жильберт Вард вскоре отдаст последний вздох, и положит конец его имени и роду. Аббат послал в Сток-Режис посланника, чтобы уведомить леди Году о положении её сына. На другой день она явилась повидать Жильберта, но он её не узнал, так как у него была сильная горячка. Прошло три дня, она ещё один раз возвратилась, но он спал, и больничный служитель не хотел его беспокоить. Затем она отправляла посланников за справками о состоянии здоровья раненого, но сама она больше не являлась. Это сначала удивило аббата и монахов, но позже они все поняли.

Жильберт пережил свои ужасные раны, так как был молод, силен и имел чистую кровь.

Когда наконец ему позволили встать на ноги, он походил на тень. Сначала на него надели монашескую одежду, так как её было легче носить, но вскоре он был достаточно силен, чтобы выйти из своей комнаты и оставаться в продолжение часа на каменной скамье монастырской галереи. В этот день около него сидел один только брат-монах и медленно обмахивал его листом жёлтого пергамента, похожего на тот, которым монахи переплетали свои книги; другой брат возвратился к своей работе.

Жильберт откинулся назад и закрыл глаза, упиваясь воздухом, согретым солнцем, и запахом цветов, росших в монастырском саду. На него низошло то необъяснимое чувство мира, которым наслаждаются люди, вырванные у смерти, когда прошла опасность, и жизнь медленно к ним возвращается. Невозможно, чтобы молодой человек с впечатлительным характером и верующий, проведя два месяца в большом монастыре, не почувствовал бы тяготения к монастырской жизни.

Лёжа в своей постели целыми, часами днём и в бессонные ночи один, хотя какой-нибудь из братьев монахов всегда являлся на его первый зов, Жильберт следил с двойным зрением больного за существованием двухсот монахов, живущих в Ширингском аббатстве. Он знал, что они встанут с восходом солнца, что собираются в тёмной часовне аббатства для утренней молитвы, а затем идут на работу: братья-послушники и новички – в поле, учёные отцы – в библиотеку и в зал для письма. Он мог следить за ними ежедневно во время молитвы и за работой; его сердце было вместе с ними. Истомлённому и исхудалому, каким он был, жизнь в сражениях и любви, казавшаяся ему когда-то единственно стоившей труда существования, теперь казалась невозможной и исчезала во мраке невозможности. Он не желал более славы. Он имел тем менее успеха в своём первом большом кровавом бою; убийца отца был жив, сам же он едва избегнул смерти. Ему казалось, что его похудевшая и побелевшая рука, которая с трудом

могла надвинуть одеяло на грудь, когда ему было холодно, никогда более не будет в состоянии сжать рукоятку шпаги или держать повод лошади. В этом полном истощении физических сил ему представлялось привлекательным, чудно притягательным его собственное изображение в качестве монаха, молодого аскета или святого. Он заставил брата-больничного научить себя молитвам из дневной и ночной церковной службы, и он повторял их в определённые часы, думая, что таким образом действительно участвует в монастырском существовании. Мало-помалу, по мере того, как он лучше сознавал дух монастыря, – Евангелие прощения, камень преткновения сражающихся, научило его, что забвение обид может существовать, не бесчестя прощающего, и его решение убить сэра Арнольда уступило место широкому раскаянию, что он желал даже отомстить ему.

Одно обстоятельство его постоянно тревожило, которое в то же время было выше его понятия. Его мать, по-видимому, забыла об его существовании, и он не помнил, видел ли он её во время болезни. Он спрашивал о ней ежедневно и просил аббата уведомить леди Году и попросить её приехать в аббатство. Аббат улыбался, делал знак головой и, казалось, обещал, но если посланный бывал отправлен, он никогда не мог добиться ответа. Спустя некоторое время, когда Жильберту действительно стало лучше, из Сток-Режиса более никого не являлось справляться о нем. Так как Жильберт считал свою мать высшим существом и так же, как его отец, ошибался, считая её преданной, то по мере того, как протекало время, и она безусловно пренебрегала им, в нем проснулось опасение. Ему представилось, что с леди Годой случилось что-нибудь ужасное, неожиданное. Однако аббат ничего ему не говорил, тем менее ухаживавшие за ним братья. Одно они знали утвердительно, что леди Года совершенно здорова.

– Скоро, – отвечал Жильберт, – я буду в состоянии возвратиться домой и сам все увижу. Тогда аббат улыбнулся и, подняв голову, заговорил о жаркой погоде.

Но в этот именно день, так как Жильберту было позволено покинуть комнату, он решился потребовать объяснения. Был ещё час до полудневной трапезы, когда аббат пришёл прогуляться на галерею, окружавшую монастырский сад. За ним следовали на почтительном расстоянии два монаха, шедшие рядом, опустив глаза и спрятав руки в свои рукава; их висевшие верёвочные пояса ритмично раскачивались, пока они шли. Когда они приблизились к Жильберту, брат-больничный встал и спрятал свои руки в серые шерстяные рукава.

Жильберт открыл глаза при шуме шагов аббата и сделал движение, как бы желая встать, чтобы приветствовать величественного священнослужителя, часто посещавшего юношу в его комнате. Жильберт чувствовал к нему симпатию, естественную между людьми его расы и его воспитания, так как Ламберт, аббат Ширинга, был членом большого нормандского дома Клера, принадлежавшего к партии короля Стефана, участвовавшей в гражданской войне, что не мешало аристократу-аббату говорить с мягкой иронией, а иногда с горьким сарказмом о суетности притязаний Стефана.

Он положил свою руку на рукав Жильберта, чтобы заставить его оставаться неподвижным, и занял место возле него на скамье. По его знаку монахи удалились; они ушли на противоположную сторону галереи, где уселись в молчании. Аббат, человек деликатного сложения, с мужественными нормандскими чертами лица, с выцветшей бородой, когда-то белокурой, и с очень блестящими голубыми глазами, положил с доброжелательностью одну из своих прекрасных рук на руку Жильберта.

– Вы спасены, – сказал он со счастливым видом. – Мы исполнили нашу роль; молодость и солнце сделают остальное; теперь вы очень скоро станете сильным и через неделю потребуете у нас вашу лошадь. Её нашли возле вас, и о ней очень заботились.

– Так на будущей неделе я вернусь в Сток, чтобы увидеть мою мать? Но я думаю возвратиться сюда, чтобы жить среди вас, если вы меня примете.

Жильберт улыбнулся, произнес последние слова, но лицо аббата оставалось сурово, и брови его нахмурились, как будто он затруднялся высказаться.

– Лучше остаться с нами сейчас же, – сказал он, подняв голову и отворачивая глаза.

Жильберт несколько секунд сидел неподвижно, как будто эти слова не произвели на него никакого впечатления; затем, дав себе отчёт, что они имеют особое значение, он слегка задрожал и повернул свои усталые глаза к аббату.

– Не ехать, чтобы повидаться с моей матерью?

Его голос выражал сильное удивление.

– Нет... не теперь, – ответил аббат, прижатый к стене прямой вопроса.

Несмотря на свою слабость, Жильберт полуприподнялся со своего места и его похудевшие пальцы нервно схватили руку монаха. Он хотел говорить, но сильное волнение овладело им, как будто он не знал, какой задать первый вопрос, и прежде чем слова сложились на его губах, аббат сказал ему нежно, но авторитетно:

– Послушайте меня, сядьте спокойно возле и слушайте, что я скажу вам, так как теперь вы – мужчина, и лучше, чтобы вы узнали все немедленно и через меня, чем завтра или послезавтра жестокосердно и из бессердечной несвязной болтовни братьев.

Он на минуту остановился, все ещё держа руку молодого человека с видом сострадания и чтобы заставить его не подниматься.

– Что такое? – спросил нервно Жильберт, полужакрыв глаза. – Скажите мне это скорее.

– Скверная весть, – сказал монах. – Печальная весть, одна из тех, которые меняют жизнь человека.

Жильберт снова задрожал ещё сильнее и воскликнул с выражением крайнего ужаса:

– Моя мать умерла?

– Нет, не это. Она вне опасности. Она хорошо поживает, лучше, чем хорошо, она счастлива.

Жильберт посмотрел на аббата почти глупо, подозревая менее всего на свете, что он может узнать, если все это было верно, дурное известие относительно матери.

И, однако, казалось странным, что аббат настаивает на счастье леди Годы в то время, как у двери Жильберта находилась смерть в продолжение нескольких недель, и когда он знал, что матери неизвестно об его выздоровлении.

– Счастлива! – повторил он с видом странного безумия.

– Слишком счастлива, – ответил прелат. – Ваша мать вышла замуж, едва прошёл месяц после вашего приезда сюда.

В продолжение минуты после того, как монах перестал говорить, Жильберт смотрел ему прямо в лицо. Затем он откинулся к стене, находившейся позади него, издав нечто вроде болезненного стога. Одно слово заставило задрожать под его ногами землю, другое пронзило ему грудь.

– Кто её муж? – спросил он задыхающимся голосом.

Прежде чем ответить, рука аббата крепче и дружески сжала руку Жильберта, чтобы возбудить в нем храбрость выслушать ответ.

– Ваша мать вышла замуж за сэра Арнольда Курбойля.

Жильберт вскочил, как будто его ударил по лицу неприятель. Момент назад он не мог бы подняться без помощи; спустя минуту, он снова упал на руки аббата. Ничто испытанное им в его кратковременное существование, ни радость, ни страх детства, которое в общем содержит самые большие радости и самые большие горести жизни, ни беспорядочные воспоминания первого дня сражения, ни потрясение при виде, как убивают отца на его глазах, ни одно из этих волнений не могло сравниться с тем, что он испытывал перед этим откровенным объявлением о бесчестии, нанесённом его дому и отцу.

– Теперь, клянусь святой кровью...

Прежде чем он мог произнести торжественную клятву отмщения, поднявшуюся из его сердца к губам, нежная рука аббата почти сдавила ему рот раскрытой ладонью, чтобы остановить эти слова.

– Арнольд Курбойль, клятвопреступник перед Богом, неверный перед королём, убийца своего друга, обольститель его жены, годится для моих молитв, – сказал монах, – а не для вашей шпаги. Не приносите клятвы убить его, ещё менее клянитесь, что вы отмстите вашей матери; но если вы испытываете необходимость поклясться в чем-нибудь, то скорее дайте обет, что вы покинете их на произвол судьбы, и что вы не встанете добровольно поперёк их дороги. В самом деле будете вы обещать или нет, надо, чтобы вы держались вдали от них до тех пор, пока вы будете в состоянии потребовать, что вам принадлежит, с некоторой надеждой получить обратно.

– Что мне принадлежит! – воскликнул Жильберт. – Разве Сток не мой? Разве я не сын моего отца?

– Курбойль завладел Стоком обманом так же, как овладел вашей матерью. Как только он на ней женился, то повёз её в Лондон; оба они представились королю Стефану, и леди Года извинилась перед двором, так как её первый муж был предан императрице Матильде. Она попросила короля даровать владения Сток-Режис, замок и все принадлежащее к нему сэру Арнольду Курбойлю, лишив вас наследства, вас, её сына, потому что вы верны императрице, и потому что, как она поклялась, вы хотели изменнически убить сэра Арнольда в Стортфордском лесу. Таким образом у вас более нет ни семьи, ни земли, ни имущества – ничего, кроме вашей лошади и шпаги; так вам лучшего ничего не предстоит делать, как остаться с нами.

После того, как монах перестал говорить, Жильберт хранил молчание. Он казался жестоко подавленным известием, что лишён наследства; его руки неподвижно и слабо упирались на колени, выражая глубокое отчаяние. Он поднял голову очень медленно и уставил глаза на единственного друга, который ему остался в его одиночестве.

– Так я отщепенец, – сказал он, – изгнанный, нищий. ..

– Или монах, – внушал ему, улыбаясь прелат.

– Или искатель приключений, – возразил Жильберт, тоже улыбаясь, но с горечью.

– Большая часть наших предков поступали так, – сказал аббат, – и они собрали этим прекрасные доходы, например, Нормандию, Аквитанию, Гасконию... и Англию. Не дурное наследство для горсти пиратов, полученное в битве против всего света.

– Да, но эта горсть пиратов были нормандцами, – сказал Жильберт, как будто это одно должно объяснить победу над вселенной. – Но свет наполовину побеждён, – заключил он со вздохом.

– Ещё осталось довольно для тех, кто сражается, – ответил торжественно аббат. – Святая земля ещё даже и на половину не завоёвана и до тех пор, пока вся Палестина и Сирия будут христианскими королевствами под управлением христианского короля, есть ещё земли для попираания нормандской ногой и мяса для нормандской сабли.

Выражение лица Жильберта несколько изменилось, и в его глазах заблестел свет.

– «Святая Земля», Иерусалим!..

Эти слова медленно сошли с его губ, как бы вызывая какое-то сновидение.

– Но времена слишком стары; кто пожелает нынче проповедовать новый крестовый поход?

– Человек, слова которого – бич, сабля и корона... человек, который управляет светом.

– Кто же это? – спросил Жильберт.

– Один француз, – ответил аббат. – Бернард из Клэрво, самый великий человек, самый великий мыслитель, самый великий проповедник и самый великий святой в наше время.

– Я слышал о нем, – ответил Жильберт, с разочарованием больного, думавшего узнать что-нибудь новое. Затем он слабо улыбнулся.

– Если это творец чудес, то он найдёт во мне хорошего субъекта.

– У вас есть здесь дом и друзья, Жильберт Вард, – сказал аббат с суровым видом. – Оставайтесь, сколько хотите, и когда вы снова будете готовы к мирской борьбе, вы найдёте кольчугу, хорошую лошадь и кошелёк с золотом, чтобы снова начать вашу жизнь.

– Благодарю вас, – сказал Жильберт слабым тоном, но полным признательности. – Мне представляется, что жизнь моя не начинается, а напротив кончилась. В один час я потерял моё наследство, мой замок и мою мать. Этого достаточно, так как это все, и вместе с этим у меня похитили даже любовь.

– Любовь?..

Аббат казался удивлённым.

– Можно ли жениться на дочери мужа матери? – спросил с горечью и почти с презрением Жильберт.

– Нет, – отвечал аббат, – этот случай входит в запрещённые степени свойства.

Долго Жильберт оставался погруженным в горькое молчание. Тогда аббат, видя, что он очень устал, позвал монахов, которые приблизились, и проводили выздоравливающего в его комнату. Но когда он ушёл, ширингский аббат начал задумчиво шагать по галерее, до тех пор, пока в трапезной не ударил колокол к обеду, и он услышал глухие шаги двухсот проголодавшихся монахов, которые торопились к трапезе по лестницам и отдалённым коридорам.

V

На заре одного осеннего утра по песчаному берегу Дувра с сильным приливом, сотня полураздетых матросов тащили в море длинное, чёрное нормандское судно, катившееся по деревянным подпоркам через низкие прибои волн к далёкой серой зыби. Маленькое судно спускалось на волны кормой посредством брошенной цепи, прицепленной к его бокам наравне с ватерлинией. Длинный кабель, проходивший сквозь грубый, громадных размеров блок и при-мыкавший к кабестану, помещённому гораздо выше значка высокого прилива, отшвартованного крючком цепи к якорю, закопанному в песок до толстого деревянного штока.

Высокий старик с развевавшейся седой бородой и с цветом лица, похожим на солёную бычью кожу, спускал с барабана кабестана кабельтов, по мере того, как судно медленно скользило по подпоркам, хорошо смазанным салом. Время от времени оно произвольно останавливалось на короткий срок, отказываясь двигаться вперёд. Но двадцать дюжих матросов, погрузившись ногами наполовину в песок, заставляли усилиями и попеременными подпираниями качаться маленькое судно на киле и направляться с берега к воде, напирая в его обшивные доски своими широкими плечами и упираясь грубыми загорелыми руками в бедра, как множество атлантов поддерживающих миры.

На корме судна стоял хозяин, готовый поставить на место длинный руль, как только судно будет в воде. Впереди два человека взялись за конец кабеля, которым был брошен якорь на пятьдесят футов гораздо далее чтобы поддерживать его отвесно, когда судно покинет стапель. У подножья мачты, которая была на судне только одна, стоял Жильберт Вард, наблюдая за всем, что делалось, с глубоким интересом невежды относительно морского дела. Вся эта процедура казалась ему слишком медленной, и он спрашивал себя, почему человек с большой бородой не отпустит всего кабеля, так чтобы судно могло само спуститься. И пока он пробовал разрешить эту задачу, случилось нечто непонятное для него; хор диких завываний раздался со стороны матросов, помещённых по обеим сторонам; хозяин, стоявший около руля, поднял руку и громко вскрикнул: старик бросил все и завыл в ответ; Жильберт услышал шум цепи. Внезапно судно задвигалось и пустилось, как стрела по прибою с короткими волнами; затем пока два человека спереди, как безумные, с руки на руку собирали концы кабеля, с трудом переводя дыхание, до тех пор, пока наконец судно заколыхалось в носовой части на серой, покрытой беляками воде, и осталось спокойно на своём якорю.

Час спустя, благодаря двадцати вёслам, ритмически взмахивавшимся в уключинах, и попутному северо-западному ветру, ясно очерченное гребное судно было уже далеко в Ла-Манше. Ранее ночи при благоприятном и свежем ветре хозяин бросил якорь в Кале почти под сенью замка графа Фламандского.

Таким образом Жильберт покинул Англию авантюристом, лишённым всего, что он должен наследовать. И он обязан был Ламберту де Клеру, ширингскому аббату, всем, чем владел в данную минуту: кольчугой и другими принадлежностями вооружения, одеждой, какую необходимо было взять в путешествие молодому дворянину, двумя лошадьми и кошельком, которого хватит ему на несколько месяцев. Его слугой был молодой саксонец с белокурыми волосами, спасшийся из Стока в Ширинг. Он отказался покинуть Жильберта, на которого смотрел, как на своего законного господина. Молодой человек имел при себе также лакея своих лет. Это был смуглый человек, найдёныш, которого монахи окрестили именем Дунстана – святого их ордена. Воспитанный и обученный аббатом, по-видимому, не знавший ни от кого он родился, ни откуда он явился. Однако молодой человек не мог согласиться вступить в послушники, пока в свете было место для смелых искателей приключений.

Это был юноша с дарованиями, быстро усваивавший и упорный на запоминания. Он говорил по-латыни, и на наречиях франко-нормандском, англо-саксонском, как ни один из

монахов аббатства. Проворный на руку и лёгкий на ногу, с чёрными, отважными глазами, в которых с трудом можно было отыскать зрачок, тогда как белки были холодно серо-голубоватые, часто налитые кровью, волосы его были короткие и жёсткие, а лицо напоминало молодого сокола. Он так упрашивал, чтобы и ему позволили отправиться с Жильбертом, и притом так очевидна была его неспособность к монашеской жизни, что аббат дал своё согласие. В продолжение последних недель Жильберт, силы которого с часу на час возвращались, и который не мог более переносить замкнутой монастырской жизни, сделал Дунстана своим товарищем, прогуливаясь с ним пешком и верхом, так как юноша был хороший наездник. Иногда они вступали с ним в длинные споры относительно веры, совести и чести; оба были привязаны один к другому различием между ними. Это не была привязанность друзей и ещё менее господина и слуги, она была скорее того рода, которая существует между рыцарем и оруженосцем, хотя оба были одних лет, и Жильберт не имел никаких шансов получить немедленно рыцарские шпоры.

Однако было трудно допустить, что Дунстан мог бы добиться рыцарства. В идеях рыцарства есть странный пробел, а в его нравственной организации любопытные пятна, указывающие на другую расу, другое наследственное мышление, традиции более древнего мира и менее простого, чем тот, в котором воспитывался Жильберт.

Жильберт был типом благородной молодёжи того времени, когда светоч рыцарства царил над веком насилий, но сиял ещё не вполне. Бог, честь, женщина составляли простое триединое понятие о вере и уважении рыцаря с момента, когда церковь начала устанавливать орден воинов, имевших особые обычаи и обязанности. Они соединяли таким образом навсегда высокие понятия истинного христианства и настоящего благородства.

За отсутствием всякого образования у светских людей этой эпохи, в жизни играло роль самое простое и оригинальное воспитание, и Жильберт приобрёл этот род образования в самой возвышенной и лучшей форме. Цель образования, собственно говоря, — предоставить знание специального предмета, в особенности, когда оно становится средством к существованию. Цель воспитания — сделать людей, пропитать их характер честью, дать человечеству нравственную силу безукоризненного джентльмена, а оно может обнаружиться лишь в вежливых манерах, скромном виде и отважности. Названные качества были глубоко соединены в уме людей первоначальных времён с внутренними принципами и внешними христианскими обрядами. Это была безусловная простота и в известной мере пространная гармония верований, принципы и правила поведения, делавшие жизнь возможной в такое время, когда современное искусство управления было в зачатке, а идеи конституции терялись в хаосе тёмных лет, где распоряжение королевствами, графствами и обществом было чисто личным делом, зависевшим только от индивидуального характера или каприза, добродетели и порока, любви к ближнему и алчности. Без рыцарства общество, свет и церковь были бы лёгкими добычами самых ужасных человеческих чудовищ, снedaемых честолюбием средневековых, неверующих вельмож, спорядически метавшихся из Англии в Константинополь, из Парижа в Рим. Обыкновенно, почти неизменно они кончали роковой неудачей, побеждённые, поправленные нравственным человеческим родом, стремившимся к добру. Эти опасные люди были — Иоанн XII, из дурной расы Феодоры в Риме; еврей Пьерлеон, живший сто лет позже; король Иоанн Английский и, наконец, последний, быть может, величайший из всех, так как был хуже всех — цезарь Борджиа.

Быть джентльменом в то время, когда Генрих Плантагенет был двенадцатилетним ребёнком, а Жильберт Вард ехал представиться ко двору герцога Нормандского, не значило отличаться многими качествами. Необходимо было иметь несколько нравственных принципов и самое большое два или три таланта. Но это тоже означало, что этими простыми качествами джентльмен должен обладать в наилучшем смысле, и этот род совершенства был корнем социального превосходства во все века. Мы слышали о любителях-артистах, любителях-воинах и любителях — государственных людях, но никогда не слыхали о любителях-джентльменах. Жильберт Вард латинский язык знал плохо, только несколько молитв, которым научил его

капеллан Стока, но он верил от всего своего сердца и души в силу этих молитв. Франко-нормандский язык благородной Англии был не тот, что по ту сторону моря, у более утончённых братьев французов. Впрочем, хотя язык выдавал его происхождение, но у Жильберта было нечто, служившее ему среди себе равных лучше, чем французское произношение, – грация, непринуждённость без жеманства и радушная учтивость, качества прирождённые, как талант и гений. Но они достигают совершенства лишь в атмосфере, к которой они принадлежат, и среди лиц, одинаково обладающих ими. С верованиями и благородными манерами он ещё ловко владел оружием и особенно шпагой. Для джентльмена той эпохи был безусловно необходим единственный талант: это глубокое знание всякого рода охоты, начиная от соколиной и до охоты на кабана. В этом отношении Жильберт равен по искусству с большей частью молодых дворян. Несмотря на свою молодость, он был совершенно подготовлен к светской жизни. Кроме этих преимуществ у него было ещё одно: Жильберт чувствовал, что даже отправляясь жить среди чужеземцев, он встретит людей, думающих и действующих, как он сам, веря, что их способ действовать и думать лучше, чем у других.

Пока он бродил вдоль дюн, он не думал ни об этом, ни о своих проектах. Его жизнь казалась ему странной, благодаря своей внезапной и полной перемене.

Большой переменной был для него переход от роскошной жизни, спокойных наслаждений, обеспеченного существования, местных почестей, перспективы тихой любви, делавшей все честолюбивые мысли безумными и пустыми, к обладанию только парой хороших лошадей, солидным оружием, небольшими карманными деньгами, с которыми ему предстояло завоевать мир. Однако громадная разница этих двух положений была для него незначительной рядом с более жестокими несчастьями, о которых молодой человек раздумывал во время пути. Они отравили его молодую жизнь, отняв самые высокие и прекрасные иллюзии и самую дорогую надежду на счастье.

Падение образа его матери, вознесённого им на алтарь, неизбежно увлекло с собой и его прошедшее детство, каким Жильберт представлял его себе. В ужасном свете его истинной природы, в сумме зла, казавшегося ему внезапным, то небольшое хорошее, которое он должен бы сохранить в своих воспоминаниях, уменьшилось до Ничтожества. Ему казалось невозможным, чтобы его мать, вышедшая замуж за убийцу своего мужа через месяц после его смерти, могла питать искреннюю любовь к Раймунду Варду, или иметь хоть самое лёгкое расположение к сыну, сначала брошенному ею, а затем предательски лишённому ею наследства. Но в его сердце ещё существовало время, когда он питал к ней сыновний культ, и он оплакивал те части в своей одинокой скорби. Ничто не заменит её места, она удалилась, унеся с собой все сладкие и нежные воспоминания целого существования.

Когда его внутреннее зрение искало её, то ничего не находило, и весь свет угасал в потёмках его души. В действительности его мать не умерла, как его отец, но она была мертва для чести. В его памяти Раймунд Вард остался таким, каким Жильберт видел его в последний раз, – бледным и окоченелым в своей кольчуге. Но все-таки это был он сам, все-таки он сам, каким был при жизни и каким сделался потом в месте мира и успокоения, где покоятся храбрые. В его спокойных чертах отразилась навсегда истина, в которой протекло все его существование. В скрещённых на груди руках лежал последний внешний символ безыскусственной простой веры, руководившей им в жизни. Его могучий абрис необыкновенной силы говорил в величии смерти об исполненных им славных делах.

При жизни Раймунд Вард был для своего сына образцом самого почтённого из всех человека; мёртвым он остался во всех отношениях несравненным, бесподобным, высшим существом. Не все ли равно для Жильберта, что он безмолвен, ведь он всегда говорил правду, – что он неподвижен, как камень, но при жизни его рука была быстра и ради доброго дела наносила удары, о которых все помнили. Не все ли равно, что он теперь глух, но он слышал крики слабых и спасал их; что он слеп, но его глаза не раз видели свет победы и смело взглянули на честную

смерть. Он покоился навсегда в сердце своего сына честным, искренним, храбрым и сильным, каким был он во всем. В то время, как сдерживаемые слезы жгли Жильберту мозг, он повернул свои глаза в другую сторону. Не раз желал он видеть свою мать покоившейся рядом с отцом в её телесной оболочке, но сохранившейся для сына в том, что не умирает в женщине – любимой и почитаемой – через поучения в памяти её потомков; он хотел, чтобы она осталась навсегда матерью в его сыновней памяти.

Вопреки этим утешительным мыслям, вызвавшим воспоминания о семейном очаге, перед ним являлась эта женщина не той, как он представлял её всегда, а какой её видели иногда другие. Отвратительнейший и безвозвратный проступок, совершённый ею, отпечатал на её лице свой след, и в бессознательной памяти Жильберта восстали подробности оскорбления, когда его любовь впервые была отброшена ею. Её холодные черты были твёрды, как камень, глубокие синие глаза – лживы и без веры, тонкие и красные губы презрительно улыбались, показывая мелкие и хищные зубы, а в рыжих волосах виднелся оттенок пламени.

Лучше было бы ей умереть, в тысячу раз лучше ей исчезнуть раньше времени, чем её сыну сохранить такое воспоминание о своей матери.

Черты её лица отгравировались остриём его первого горя на самой болезненной части его сердца; едкая горечь новой и неестественной ненависти все глубже снала его с каждым днём. А когда, против воли Жильберта, его ум останавливался на ней и признавал, что проклиная ту женщину, которая родила его, тогда в отчаянии он предавался мысленно религиозной жизни.

Но хотя монастырь привлекал Жильберта, зывал к наилучшей стороне его природы, в то время, когда смерть коснулась его своим крылом, теперь же привлекательность была уже не совсем та, гораздо менее непреодолимая. Он понял, что монастырь был бы единственной возможной жизнью для лиц, прошедших через серию неудач, от света к мраку, от счастья к горю... Он годился для людей, ничего более не любящих и ни на что не надеющихся, которые ничего не могут более ненавидеть и предаются полному отчаянию. Они ищут покой, как единственное земное благо, которое они ещё могут изведать, в монастыре же его было довольно. Надежда умерла в их настоящей жизни, и они искали освежение в надежде будущей жизни. Монастырь был хорош для несостоятельных в любви и в борьбе. Но должна же быть другая форма существования для тех лиц, молодость которых была ранена, но не умерла, кровь – ещё сильна и тепла, воля пылка для добра и зла, для людей, которым ещё предстояла борьба. В ней они должны иметь средство против судьбы, которое не было бы оскорблением Бога. Эта борьба не была бы сопротивлением воле Божьей и возмущением. Добродетель не означала бы в ней темницы для души и тела, а надежда на спасение – монашеской кельи.

Как большинство энтузиастов, знающих жизнь лишь по догадкам и полных врождённой веры в существование добра, Жильберт мечтал осуществить гармонию обеих противоположностей – религиозной жизни и светской. Подобные мечты казались ему несбыточными даже в то время, когда они служили базисом самой идее рыцарства, и когда многие из искренних и храбрых людей почти добились перенести их в действительную жизнь, наскоро, как никогда не допустило бы современное общество, хотя бы так было на небе. Религиозная идея крепко засела в душе Жильберта, и он взял в привычку участвовать в хоре во время большей части монастырской службы и носил всегда послушническую рясу, служившую ему прежде больничной одеждой. Теперь, отправляясь по свету искать счастья, он чувствовал себя странно в светской одежде, перчатках и шпорах и предпочитал им монашескую рясу. Он чувствовал, что даже в деятельной жизни он не избавится от монашеского инстинкта совсем, и что для него самого так было лучше. Он находился на узком и опасном берегу между прошедшим и настоящим, куда, рано или поздно, приводится судьбой всякий человек сердца, и где каждый шаг влечёт за собой падение, а падение близко к гибели.

Внезапно от него отняли силой предметы, ради которых он существовал, он их любил и надеялся на них. Теперь у него не осталось более ни ключа к счастью, ни надежды, ни руково-

дителя; со всех сторон перед ним открывалась отвратительная, но притягательная сила отчаяния.

Даже воспоминание его первой любви задёрнулось мрачной завесой, так как он знал о неотменяемости церковного запрещения, и при его настроении ума думать о Беатрисе ему казалось искушением и смертельным грехом.

Покидая Англию без всякой определённой цели, но со смутным намерением отправиться в Иерусалим, он скорее повиновался ширингскому аббату, чем следовал его дружескому совету; в этом повиновении сильно чувствовалось укоренившееся в нем монастырское правило. Ламберт Клер, прежде всего как светский человек, а не духовный, сердечный, а не настоятель монахов, хорошо понял состояние души Жильберта и предложил ему лучшее лекарство. По его мнению, излечение разбитого сердца, если таковое есть, не состоит в уединении и молитве, а в борьбе против ран и уколов светской жизни. Он натолкнул Жильберта на жизнь, какую ведут другие лица аристократического происхождения, советуя ему предпринять паломничество в Святую Землю, как средство удовлетворить свои религиозные стремления.

Что касается до материальной помощи, полученной от него Жильбертом, в тот бескорыстный век небогатый джентльмен не считал стыдом принять денежный подарок от богатой и могущественной личности, как ширингский аббат, в уверенности нажить состояние с помощью собственных рук и сторицей уплатить долг.

Считая свою обитель гораздо выше политических распрей и тайно насмехаясь над своими двоюродными братьями, поддерживавшими дело выскочки короля Стефана, аббат посоветовал Жильберту отправиться прямо ко двору Готфрида Плантагенета, герцога Нормандского, великого сенешаля Франции и мужа императрицы Матильды, законной королевы Англии.

Туда-то и отправился молодой человек в сопровождении Дунстана, ехавшего слева на его втором коне, и саксонца Альрика, конюха и стрелка, ехавшего за ними на сильном муле, нагруженном багажом Жильберта.

VI

Это происходило в первое время могущества Готфрида Нормандского. Два или три раза он являлся из Анжу со своими воинами и слугами, рассчитывая овладеть законным наследием жены. Много раз его вытесняли и высылали из его владений, но наконец он победил. Железная воля этого человека, раса которого дала Англии четырнадцать королей, принудила Нормандию подчиниться. С тех пор он царствовал мирно. Однако он не завязал, как желал бы для своей поддержки, ни солидной дружбы, ни сильных союзов. Вместе с тем он хотел добиться помощи для своей жены в продолжительной борьбе, которую она вела за корону Англии.

Обыкновенно он заменял себя в своей обязанности сенешаля Франции делегатом, но с недавнего времени он решил съездить лично в Париж. Он надеялся войти в соглашение с Людовиком Юным, а, может быть, также с красавицей-королевой Элеонорой, феодальной государыней, по собственному праву, в Гиени, Пуату и Аквитании, что делало её могущественнее самого короля.

Случилось так, что Жильберт, прежде чем достигнуть места назначения, встретил блестящий кортеж, направлявшийся по большой дороге в его сторону. Он состоял, по меньшей мере, из двухсот всадников и стольких же пешеходов, за которыми следовали навьюченные мулы. Дорога становилась узкой на месте встречи молодого человека с кортежем, и Жильберт сообразил, что ему с двумя слугами невозможно проехать. Хотя ему казалось неестественным уступить дорогу кому бы то ни было, но он понял, что перед этой маленькой армией благоразумнее отступить. В этой части дороги образовалась живая изгородь из куста терновника, и Жильберт с своими слугами был принуждён почти углубиться в него, когда перед ним проехали рысью четыре рыцаря в великолепных одеждах, находившиеся во главе кортежа. Они бросили на него пытливый и несколько высокомерный взгляд, так как не могли не заметить, что Жильберт чужеземец, а для путешественника его свита была слишком ничтожна. Он же просто смотрел на них, пока они проезжали, так как его глаза были устремлены на приближавшуюся кавалькаду. Это был настоящий поток разнообразной одежды, богатых и великолепных оттенков, направлявшийся между нежной зеленью листвы прямо к Жильберту. Все эти люди мирно двигались, и хотя над ними возвышался штандарт, но он был свернут в кожаном чехле.

Окружавшие его рыцари были в одежде из богатой пурпуровой, зеленой или темно-коричневой ткани, сверкавшей золотом, сиявшей серебром и блиставшей сталью, что разнообразило здесь и там тёмные цвета бархата и сукна.

Позади штандарта ехали верхом мужчина и мальчик, а за ними следовали другие рыцари.

Рыцарь, ехавший на громадном нормандском белом и сильном коне, держался в стороне от дороги. Громадное животное небрежно переступало крупным, тяжёлым шагом, встряхивая, время от времени, своей толстой белой головой, с серо-железного цвета холкой и тщательно приглаженной гривой. Рыцарь сидел на седле прямо и как прикованный; его сильная рука легко перебирала не слишком короткую, не слишком длинную одноцветную уздечку, следуя за шагом лошади. Очевидно, это был человек прекрасного роста, не чрезмерно высокий, но в высшей степени красиво сложенный, с манерами юноши, хотя уже переступил зрелый возраст, судя по его жёстким чертам и по лбу, изборождённому морщинами. Его серые и глубокие глаза прямо и пристально смотрели из-под чёрных бровей, странно противоречивших его серо-железистого цвета волосам. Было что-то непоколебимое и роковое в гладко выбритой челюсти, широком и плоском подбородке, в большом и энергичном рту, нечто странно-прочное, противоречившее богатой изысканности его великолепной одежды, как будто этот человек и его воля должны были пережить моду их времени.

Мальчику, ехавшему рядом с ним, было немного более двенадцати лет, и он походил, и, вместе с тем, не походил на него. Это был плотный, высокий юноша, с короткими ногами

и сильнее своих лет. Всякий мог заметить, что он никогда не будет обладать красотой, совершенством сложения и грацией манер своего отца. Зато в его лице было кое-что, напоминавшее личную силу отца, и отражалась даже большая независимость. Серые глаза были те же самые, но более сближенные и слишком созерцательные для его лет, а длинный нос был скорее плоский, чем заострённый. Его широкие и прямые губы, соединённые и сжатые, показались бы энергичными даже у сформировавшегося мужчины. Мальчик уверенно сидел на своём маленьком сером андалузском жеребце, как будто он всю свою жизнь провёл в седле. Его двенадцатилетняя рука с большей уверенностью сжимала уздечку, чем когда-либо делал его отец.

Было что-то столь царственное и возвышенное в манерах отца и мальчика, что Жильберт, привыкший к нормандской учтивости, невольно выпрямился в седле, насколько ему позволили его длинные стремяна, и, считая совершенно естественным приветствовать владельца земли, на которой он находится, приподнял шляпу. Рыцарь ответил на поклон движением руки и пристально взглянул на Жильберта, затем, к большому удивлению молодого человека, он остановился, а мальчик, находившийся возле него, отодвинулся на некоторое расстояние, чтобы не быть на дороге между ними. В продолжение нескольких секунд ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Потом старший из них, как бы ожидая нечто, чего чужеземный путник должен был не знать, добродушно улыбнулся и заговорил. Его голос был сильный и мужественный, но в то же время ясный и нежный.

– Вы не здешний, сударь, – сказал он утвердительным, а не вопросительным тоном.

– Я из Англии, сударь, – ответил Жильберт, слегка склоняясь в седле.

Незнакомец пристально взглянул на него и нахмурился, зная, что немногие джентльмены отказались присягнуть королю Стефану.

– Из Англии!.. – воскликнул он. – Что же вы можете делать в Нормандии, молодой человек? Друзья Стефана найдут здесь мало дружелюбия.

– Я не из друзей Стефана, – заметил Жильберт, выпрямляясь в седле с несколько высокомерным видом. – Напротив, я из тех, которые желали бы укоротить его царствование от долголетия жизни, а тело от головы.

Широкое, прекрасное лицо мужчины смягчилось в улыбку. Сын же его, сначала рассматривавший Жильберта с недоверием, при этих словах откинул голову назад и засмеялся.

– Я полагаю, вы за императрицу? – сказал старший незнакомец. – Почему же вы не в Глостере?

– Сударь, – ответил Жильберт, – Стефан лишил меня замка и земель, и я скорее предпочёл отправиться искать по свету счастье, чем просить их у королевы, так как ей нечего более раздавать.

– Вы могли бы сражаться за неё, – возразил рыцарь.

– Да, сударь, я это делал и сделаю ещё, если нормандские джентльмены пожелают переправиться через море и также сражаться, – сказал Жильберт. – Но дело находится теперь в том положении, что рискнувший прервать перемирие сломит себе шею, не оказав услуги императрице. В ожидании, я отправляюсь ко двору герцога Нормандского, и если я могу ему служить, я это сделаю, если нет – я отправлюсь далее.

– Кто же вы, сударь, ищущий герцога?

– Я – Жильберт Вард, и мой отец владел в графстве Гертфордском замком Сток-Режисом, полученным от герцога Вильгельма. Но Стефан отнял его у меня, пока я лежал больной в Ширингском аббатстве, и отдал другому. А ваше имя, сударь, я хотел бы его знать?

– Готфрид Плантагенет, – спокойно ответил герцог, – и вот мой сын Генрих, который, милостью Божьей, будет английским королём.

При этом имени Жильберт вздрогнул; затем он в первый раз заметил, что на их бархатных шляпах находился маленький сухой побег шильной травы. Он соскочил с лошади и, обнажив голову, подошёл совсем близко к стремянам герцога.

– Извините меня, герцог, я должен бы вас узнать.

– Это трудно, – ответил Готфрид, – вы меня никогда ранее не видели. Но так как вы ехали ко мне и чтобы мне служить, то садитесь на лошадь и следуйте за мной в Париж, куда мы отправляемся.

Жильберт снова вскочил в седло и хотел присоединиться к свите молодых оруженосцев, находившихся позади пяти рядов рыцарей, следовавших за герцогом. Но Готфрид не хотел, чтобы Жильберт занял немедленно своё место, радуясь иметь известие о продолжительной борьбе в Англии, конец которой должен был возвести на английский трон одного из Плантагенетов. Он предложил юноше множество вопросов, на которые Жильберт отвечал, как мог лучше, хотя на некоторые из них было не легко ответить. Юный Генрих слушал все, что говорилось, с суровым лицом и с серьёзными глазами.

– Если бы я был на месте моей матери, – сказал он наконец после паузы, – я отрезал бы голову Стефану в его Бристольском замке.

– И твой дядя Глостер был бы приговорён к смерти женой Стефана.

Готфрид, сказав эти слова, посмотрел с некоторым любопытством на сына.

– Она не сделала бы этого, – возразил Генрих. – Стефан умер, и война окончилась бы. Но если бы даже она убила дядю, что же из этого? Корона Англии стоит, по крайней мере, одной жизни!

Жильберт удивился жестокости молодого человека, но хранил молчание. Он был тоже удивлён, что герцог ничего ему не ответил, и слова одного и молчание другого заранее ясно предсказывали будущность королевства. Слова мальчика казались Жильберту бессердечными и не рыцарскими. Он был прежде всего человек сердца. Это первое впечатление, произведённое на него скороспелым юношей, было ошибочно, потому что Генрих выказал себя позже справедливым и добрым, хотя часто бывал строгим и мстительным. Но Жильберт был очень далёк от мысли, что юный принц сразу сильно привяжется к нему, и что с первой же встречи он бессознательно положит основание к искренней дружбе.

Некоторое время герцог не задавал более вопросов, и Жильберт заключил из этого, что более не нужен. Он удалился на своё место среди оруженосцев; молодые люди приняли его дружелюбно и с некоторым уважением, так как, не будучи даже рыцарем, он удостоился беседы с их государем. Сам Жильберт, хотя сначала чувствовал себя хорошо среди равных, однако вскоре понял, что их разделяет глубина его несчастий.

Один из юношей рассказывал о своём замке в Байе и о своём отце; при этом лицо Жильберта сделалось мрачно. Другой говорил, что его мать вышила ему золотом красивый полотняный воротник, видневшийся из-под открытого кафтана. Услышав это, Жильберт закусил губы и, отвернув голову, стал рассматривать зеленевшиеся деревья. Третий спросил молодого человека, где находится его замок.

– Здесь, – ответил он суровым тоном, ударяя правой рукой по седлу.

Некоторым из них было от четырнадцати до восемнадцати лет, и Жильберт был старше их всех. Эти безбородые юноши никогда не видели сражений, но их отцы дрались против Готфрида Плантагенета до тех пор, пока не признали его своим господином, как был в своё время великий герцог Вильгельм. Раз побеждённые, они подчинились ему и, как поступают большинство побеждённых, тотчас же послали своих сыновей ко двору Готфрида учиться фехтовать и хорошим манерам. Таким образом, ни один из них со шпагой в руке не встречался лицом к лицу с неприятелем, как Жильберт с Арнольдом Курбойлем. Хотя он не говорил о своей истории и ещё менее о своих подвигах, но они видели, что он старше их, чувствовали, что он видел более их, и угадывали, что его рука была сильнее.

Таким образом они продолжали путь; затем была сделана остановка, и все обедали вместе, в громадной внешней галерее одного монастыря, куда они прибыли в полдень. Молодые

люди, сидевшие возле Жильберта, заметили, что он повторяет длинные латинские молитвы так же хорошо, как монахи, и один из них спросил его, смеясь, где он набрал столько учёности.

– Я оставался два месяца в одном монастыре, излечиваясь от раны, – отвечал Жильберт, – и брат-больничный научил меня монастырским обычаям.

– А как же вы получили рану? – спросил юный оруженосец.

– От удара шпаги, – ответил улыбаясь Жильберт.

Но он более ничего не прибавил.

Другие оруженосцы расспрашивали его слугу, Дунстана, который, гордясь своим господином, рассказал им о Жильберте все, что знал. Его слушатели удивлялись, почему такой храбрый не добился рыцарства. Они предсказывали, что если Жильберт Длинный, как они называли его за высокий рост, останется на службе герцога, он недолго будет оруженосцем.

В последующие дни стало для всех очевидным, что Жильберт находился на дороге к счастью, по которой его вела рука успеха. Так на заре, во время их пути по тропинкам, покрытым росой, где росли белые астрочки, к Жильберту подъехал конюх и сказал, что юный Генрих, граф, как его стали называть с этого времени, желает ещё побеседовать с мистером Вардом об Англии. Жильберт приблизился к нему мелким галопом и поехал рядом с юным принцем. Более часа он отвечал на множество вопросов, касавшихся английских вельмож, английских деревьев, скота и собак.

– В скором времени все это будет моим, – сказал, смеясь, мальчик, – но так как я никогда не видал моего будущего королевства, мне нужны ваши глаза, чтобы иметь о нем понятие.

И ежедневно, после полудня, за Жильбертом являлся посланный, и он отправлялся к юноше рассказывать историю Англии. Он разговаривал с мальчиком, как со взрослым мужчиной, рассказывая ему о своей стране на сильном и энергичном языке серьёзного человека такие дела, которые давно были у него на сердце.

Генрих слушал его, расспрашивал, опять слушал и раздумывал про себя обо всем слышанном. И все это он запоминал не на день, не на неделю, но на все время своего существования – в мальчике вырастал с часу на час король.

Иногда герцог слушал их беседу и вставлял в разговор несколько слов; чаще же он ехал один вне кортежа, глубоко задумавшись, или призывал к себе одного из самых старых рыцарей. Когда тонкий слух Жильберта схватывал отрывки их разговора, то они обыкновенно беседовали о сельских делах, о жатве, скотоводстве, лошадях и цене на хлеб.

Таким образом они свершали свой путь и через некоторое время достигли полей, покрытых грязью, оставленной наполовину высохшей рекой. Здесь и там, вне бесплодного обширного пространства возвышались зеленые бугорки, на которых были выстроены замки из серого камня. Но на низменности находились грязные дома кирпичников, бедно живших близ реки. Затем к реке местность вдруг несколько поднималась, образуя улицу с каменными и кирпичными домами. Жильберт, приподнявшись на стремянах, чтобы лучше видеть над головами спутников, заметил между домами на острове замок французского короля. Этот дворец с башенками, валами, подъёмным мостом и с толстыми серыми стенами был в то время самой солидной крепостью во всем свете.

Наконец кортеж остановился, и герольд герцога приблизился к воротам; по другую их сторону находился герольд короля. Раздался звук рога, и звонкие громкие голоса заговорили однообразным тоном обычные в таком случае фразы. Затем последовало молчание, потом опять звук трубы, обмен слов, и, наконец, в последний раз опять раздался звук трубы. После этого герольд герцога возвратился к кортежу, а герольд короля вышел на подъёмный мост. За ним следовал мужчина в богатой белой суконной одежде, с вышитыми золотом лилиями, блестящими на осеннем солнце, как маленькие огненные языки. Штандарт герцога развернулся ветерком, подувшим с реки, и величественный кортеж медленно двинулся к подъёмному мосту

по деревянной мостовой, пересекавшей самую широкую часть реки. Он направился через главные ворота на большой почётный двор.

Жильберт ехал позади молодого Генриха, который в шутку называл его своим канцлером и не хотел, чтобы он удалялся с его глаз.

Во дворе против наружной стены возвышались большие здания, а посредине находилось жилище короля. Под портиком, на верхних ступенях, ведущих к главному входу, король и королева в парадных одеждах, окружённые всем двором, с большой церемонией ожидали Готфрида Плантагенета, великого сенешаля Франции и брата по могуществу.

Жильберт сразу заметил, что король был жалкий мужчина, бледный, белокурый с рыжей бородой, несколько полный, с угрюмыми голубыми глазами, но все-таки похожий на рыцаря. Королева же Франции была самая красивая женщина на свете, и когда глаза молодого человека заметили её, то долго не могли насмотреться.

Она настолько отличалась от всех женщин, известных ему, что его представление о женщине с этого часа совершенно изменилось на всю жизнь... Это было самое совершённое соединение красоты, грации и силы.

Другие женщины, без сомнения, тоже обладали этими преимуществами, но те, которые имели их, были так же известны, как победители и знаменитые поэты.

Глаза Жильберта устремились на неё, и в продолжение минуты он был погружён в экстаз; в это время он не мог бы описать ни одной черты лица королевы. Но когда она заговорила с ним, его сердце забилося, а веки содрогнулись: её образ остался навсегда в его памяти.

Как ни был молод Жильберт, но отдать своё сердце с первого взгляда на женщину противоречило его суровому, меланхолическому расположению духа. Не любовь и не предвестник любви увлекли его, пока он смотрел на королеву. Это было впечатление чистого видения, как ослепление, причиняемое блестящим светом, и головокружение, вызванное внезапным сильным движением.

Она была так же высока, как король, но в то время, как он был тяжёл и неуклюж, безукоризненные формы королевы не допускали ни одного неграциозного движения, а непринуждённая соразмерность её малейшего жеста выражала необычайную энергию, которую никакая усталость не могла умалить. Когда она делала движение, Жильберт желал, чтобы она никогда не отдыхала; когда же движение прекращалось, он думал совершить преступление против красоты, возмущившей его покой.

Её обнажённые под утренним солнцем лицо и шея были нежны и прозрачны, как лепестки апельсинового цветка в мае месяце. Казалось, они, как сами цветы, расцветали на солнце и воздухе, во время росы и дождя и хорошели, а не портились от прикосновения жара или холода. Белая, упругая и безупречная шея подымалась, как мраморная колонна к нежной мочке уха, а линия, изящно вылепленная, стремилась в грациозном изгибе, полном красоты, к округлённости подбородка, как бы сделанного из слоновой кости, с восхитительной ямочкой – высшей чертой природной красоты. Густая масса её волнистых волос разделялась равными прядями на обе стороны и придерживалась зеленой шёлковой повязкой, поверх которой была надета корона. Но на ней не было длинного вуаля, и широкие волны её волос развевались на её плечах и спине, как плотная мантия. Они были того восхитительного и живого цвета, какой бросает осенью заходящее солнце сквозь листву дуба на старую стену. Все её лицо было ослепительно, начиная с волос до белого лба, от лба до глаз гораздо темнее сапфира и светлее горного ручейка, от оттенка кожи ослепительной белизны персиковых цветов до перламутровых щёк и коралловых губ.

На ней было очень обтянутое нижнее платье из тонкого зеленого сукна, вышитое серебром мелким рисунком, в котором геральдическая корона Аквитании чередовалась с лилией. Зелёный кожаный пояс, богато вышитый, плотно обхватывал вокруг боков линию её обтянутой юбки; его длинные концы падали прямо до земли. Верхнее шёлковое платье со множеством

складочек было также зеленое, но без вышивки. Парадная мантия из сукна, затканного золотом, и подбитая соломенного цвета шёлковой материей, образовывала на её плечах широкие складки, которые были прикрыты её распущенными волосами; она придерживалась на груди золотым витым шнурком. Вопреки моде того времени её узкие рукава стягивались на кисти рук, которые были закрыты зелёными перчатками с вышитой короной Аквитании.

В то время как юный Генрих, стоявший слева от отца, преклонив колено взял одетую в перчатку руку королевы и прикоснулся губами к её вышивке, Жильберт стоял позади него, а следовательно против королевы. Он не подозревал, что её глаза устремились на него в то время, как его были прикованы к ней, и когда королева заговорила, он вздрогнул от удивления.

– Кто это? – спросила она, улыбаясь, заметив, какое сильное впечатление произвела на него её красота.

Генрих полуобернулся, сделал шаг назад и взял руку Жильберта.

– Это мой друг, – сказал он, притягивая его вперёд, – но если вы любите меня, вы полюбите также и его, да скажите королю, чтобы он назначил его тотчас же рыцарем.

– У вас сильная рекомендация, сударь, – сказала королева.

Она опустила глаза на энергичное лицо царственного ребёнка и засмеялась; но, подняв голову, она снова встретила глаза Жильберта, и тон её смеха странно изменился, перейдя затем в короткое молчание.

Давно Элеонора не видала такого обворожительного человека; к тому же она тяготилась своим святошой мужем. Она была внучкой Вильгельма Аквитанского, великана, трубадура и влюбчивого человека. И неудивительно, что в её глазах сверкнула молния, и ожила каждая фибра её прекрасного тела.

– Я думаю, что полюблю вашего друга, – сказала она Генриху, все ещё продолжая смотреть на молодого человека.

Такова была первая встреча Жильберта с королевой, и когда она протянула ему руку, которую он взял, склонившись на колено, она бессознательно притянула юного Генриха совсем близко к себе и, обвив рукой его шею, с такой нежностью сжала ему плечо, что он поднял на неё глаза.

Но если бы кто-нибудь сказал ей тогда, что она напрасно полюбит Жильберта, будет разъединена с белокурым королём и сделается женой мальчика с квадратным лицом и тяжёлой рукой, кудрявая голова которого едва достигала её плеча, то пророку пришлось бы за это поплатиться, как это часто случалось с предсказателями будущего.

В это время король спокойно разговаривал с герцогом Готфридом, который вскоре приблизился к королеве с приветствием, не подозревая, какие странные мысли овладели в один момент тремя сердцами. Третьим был Генрих.

Когда королева протянула правую руку его отцу, левая все ещё лежала на его плече, и в то время, как она хотела её отнять, мальчик схватил её обеими руками и удержал. Внезапно кровь бросилась ему в лицо до корней волос; в первый и последний раз в своей жизни Генрих Плантагенет был даже смешон. Чувствуя это, он старался спрятать своё лицо, но все-таки не отпуская руки королевы.

VII

Во время пребывания герцога Готфрида в Париже ему оказывали при дворе короля высокие почести, но мало ободрили относительно плана союза против Стефана. Над некоторыми из его единомышленников тяготела рука времени. Другие от бездействия и лишнего досуга занимались не только тем, что находили хорошим, но ещё и тем, что было дурно, как некогда выразились английские хроникёры об английских рыцарях. Одни говорили, что гасконское вино превосходно, но другие уверяли, будто бургундские виноградники лучше, и подобные важные вопросы, очевидно, не должны были оставаться открытыми. Впрочем, чаще всего их представляли на суд, в особенности когда доказательства и свидетельства были трудно достижимы. Таким образом двор заседал день и ночь, не приходя к соглашению относительно вердикта.

Жильберт не научился засиживаться часами за стаканом вина и медленно туманить ум, замечая тот час, когда комната начинала кружиться вокруг оси его головы. Кроме того Генрих беспрестанно удерживал его у себя, говоря, что он единственный воздержанный человек из всех рыцарей и оруженосцев при дворе его отца. Мальчик не хотел отпускать Жильберта от себя, исключая случаев, когда проводил время с королевой; тогда он горячо желал удаления своего друга. Сначала королева забавлялась детской страстью юного принца, но так как она предпочитала Жильберта обществу мальчика, то ей вскоре надоела эта легкомысленная игра, заключавшаяся в том, чтобы безумно влюбить в себя двенадцатилетнего ребёнка.

Впрочем, Генрих был из скороспелок и предусмотрительнее своих лет, благодаря чему не замедлил догадаться о предпочтении своего кумира к другу.

Но он успокаивал себя тем, что Жильберт кажется равнодушным к королеве и ходит к ней по её приказанию, повинуюсь скорее её словам, а не личному влечению.

Был прекрасный осенний полдень, тёплый, как летом. Целые рои мух собрались вокруг раскрытых дверей больших конюшен, перед глубокими сводами, ведущими на главную кухню, и вокруг окон помещения рыцарей и оруженосцев. Воздух был тих, как бы усыплен, и не слышно было ни одного звука в обширной ограде двора замка...

В тени, позади церкви, где находился навес, укрывавший от жары, играли в мяч Генрих и Жильберт.

После дюжины ударов, когда большая часть победы оставалась за Генрихом, мальчик бросил мяч к своим ногам, чтобы стянуть сетку, которую он сделал на своей руке, обматывая тетиву лука вокруг своих пальцев и ладони, как обыкновенно делалось до изобретения отбойника. Вдруг он полуобернулся и встал перед Жильбертом с раздвинутыми ногами, сложив руки на груди. Они были обнажены до локтя, так как он снял свою суконную куртку и остался в вышитой рубашке, засучив рукава. Его рубашка была стянута на талии кожаным поясом, а её воротник был совершенно свободен и полуоткрыт. Голова мальчика была обнажена, и он был очень красен и разгорячён.

– Ответите ли вы, мистер Жильберт, откровенно на один вопрос? – спросил он, смотря в глаза своего друга.

Жильберт привык обращаться с ним, как со взрослым мужчиной, что делали все окружающие его лица, исключая королевы, и ответил утвердительным кивком головы.

– Не находите ли вы, – спросил мальчик, – что французская королева самая красивая женщина в свете?

– Да, – ответил Жильберт не улыбаясь и без малейшего колебания.

Очень сближенные глаза молодого принца заблестели все усиливавшимся гневом, в то время как багровела его шея, и кровь поднималась к щекам, а от лица ко лбу.

– Так вы любите её? – гневно спросил он Жильберта.

И слова с трудом сходили у него с языка.

Хотя Жильберта не так-то легко было застать врасплох, но это заключение было так внезапно и неожиданно, что прежде чем улыбнуться, он вытаращил глаза от удивления.

– Я... – спросил он – Я люблю королеву?... Столько же, как мечтаю добиться королевской короны.

Генрих пристально посмотрел на него ещё с минуту, затем кровь медленно исчезла с его лица, сделавшегося спокойным.

– Я вижу, что вы серьёзны, – сказал он, поднимая мяч, закатившийся к его ногам, – хотя не понимаю, почему не овладеть бы короной короля, как и его женой?

При этих словах он ударил по мячу.

– Вы слишком молоды, чтобы нарушить разом все десять заповедей, – заметил Жильберт.

– Молод! – воскликнул мальчик, держа мяч на воздухе. – Такими же были Давид, когда убил великана, Гераклес, когда задушил змея, как вы рассказывали на днях. Молод! – повторил он во второй раз, сиюсь сдержанное презрение. – Вы должны знать, мистер Жильберт, что тринадцатилетний Плантагенет равняется какому бы то ни было двадцатилетнему мужчине. Как я мог победить вас, играя в мяч, хотя вы старше меня шестью годами, так я могу побить вас другим образом и относительно королевы, хотя она наполовину влюблена в вас, как говорит весь двор. В один прекрасный день она будет моей, если даже ради этого я должен буду убить этого короля-молитвослова с круглым, как блюдо, лицом.

Жильберт не был застенчив, как не отличался и физической трусливостью, но все-таки он посмотрел вокруг себя с некоторым беспокойством, когда мальчик произнёс эти хвастливые угрозы.

Место, избранное ими для игры в мяч, представляло глубокий тенистый угол, где церковь образовала правое крыло замка. Каждое утро в продолжение нескольких часов дюжины баранов и ягнят выщипывали там траву, после чего их запирали в стойла, находившиеся на другом конце двора замка. Трава, быстро выраставшая там, сохранялась свежей даже в самые жаркие дни благодаря глубокой тени. Стена церкви, выстроенная из каменных плит, была плоская и гладкая. Она поддерживалась через правильные промежутки откосными устоями, стремившимися ввысь, прямо с каменных скатов около аршина вышины. Промежуток между последним устоем и стеной замка служил прекрасным местом для игры, и поистине образцом площадок для современной игры в мяч. Стена замка была с этой стороны также гладкая, почти без окон. Только в нижнем этаже, на большом расстоянии от угла, было одно окно; другое же было, по меньшей мере, в четырех или пяти футах от земли, как раз над тем местом, где играли Жильберт и Генрих. Оно было сделано на нормандский образец с двумя круглыми арками, тянувшимися к капители грубо вытесанной маленькой каменной колонны, разделявшей их. Играя в мяч, Жильберт часто замечал это окно, хотя оно было иногда не перед его глазами, однако даже тогда он инстинктивно оборачивался назад по направлению к нему.

Нежный, тихий смех раздался в летнем воздухе над его головой. Он поднял глаза, чтобы узнать, откуда неслись эти серебристые звуки. Юный Генрих тоже повернул глаза по тому же направлению и промахнулся поймать мяч.

Его детское пухлое лицо сделалось алым; Жильберт же медленно побледнел, подался шаг назад и, сняв свою круглую заостренную шляпу с белокурых волос, приветствовал королеву.

– Вы слышали нас, сударыня, – воскликнул мальчик, красный от гнева. – Но я этому рад, потому что вы услышали правду.

Королева опять засмеялась и обернула голову, как будто с целью убедиться, не находится ли кто-нибудь позади неё в комнате. Её белая рука была положена на каменный подоконник; это означало, что она намерена уйти. Жильберту даже казалось, что её тонкие пальцы ударили по камню успокоительно. Затем она снова склонилась. Несколько запоздавших цветов и душистых трав росли в вазе, стоявшей в нише окна. Это были душистый базилик, розмарин

и веточка плюща, который попробовал зацепиться за тонкую колонну и, успев, в этом лишь наполовину, висел над краем окна. Единственная месячная роза вносила живость оттенка в красивый зелёный тон.

Королева ещё улыбалась, когда клала на край подоконника свои локти, а на скрещённые руки свой подбородок.

Она была довольно близко от игроков в мяч, чтобы они могли слышать её, даже если бы она говорила вполголоса.

– Вы сердитесь на то, что мистер Жильберт испугался? – спросила она, глядя на Генриха. – Или вы боитесь потому, что его высочество, граф Анжуйский, в гневе? – прибавила она, поворачивая глаза к Жильберту.

Он улыбнулся её манере, с какой она начала разговор. Генрих же подумал, не насмехается ли она над ним, и покраснел ещё белее.

Не достаивая её ответом, он поднял мяч и подбросил его довольно ловко над навесом, играя один. Королева опять засмеялась уже над тем, что он так решительно отвернул от неё своё лицо.

– Хотите ли вы поучить меня играть в мяч, тогда я сойду к вам? – спросила она Генриха.

– Это не женская игра, – ответил он резким тоном, продолжая подбрасывать мяч.

– А вы, мистер Жильберт, не дадите ли мне урока?

Когда королева обернулась к молодому человеку, то смеявшиеся глаза королевы сразу сделались серьёзными, улыбавшиеся губы выражали нежность, а голос дышал лаской.

Не смотря на неё, Генрих чувствовал эту перемену и видел, что она наблюдает за его другом. Он подбросил мяч как попало, закинув его слишком высоко, чтобы иметь возможность поймать. Не беспокоясь о том, куда он укатился, разгневанный принц удалился, подняв свой кафтан, положенный на траву. Накинув его на руку, он надел на голову другой рукой свою остроконечную шапку и удалился с видом оскорблённого достоинства. Королева следила за ним улыбающимися глазами, но более не смеялась.

– Не выучите ли вы меня игре в мяч? – спросила она Жильберта, колебавшегося, что ему предпринять. – Вы ещё не ответили мне.

– Я буду всегда готов к услугам вашего величества, – ответил молодой человек, склоняя немного голову и делая жест рукой, в которой была его шляпа, как бы отдаваясь в её распоряжение.

– Во всякое время? – спросила она спокойно.

Жильберт поднял глаза, опасаясь дать обещание, важности которого он не понимал, – и не ответил сразу. Но она не повторила своего вопроса.

– Подождите, – сказала она, прежде чем он заговорил. – Я сойду к вам.

Она сделала жест, почти неуловимый, как бы посылая ему привет, и исчезла. Жильберт стал прогуливаться, заложив руки за спину и устремив глаза в землю; он заметил заброшенный Генрихом мяч лишь тогда, как едва не наступил на него. Слова мальчика пробудили в его уме вереницу совершенно новых мыслей. Ни один мужчина не лишён настолько тщеславия, чтобы не быть польщённым, даже против своего желания, при мысли, что самая красивая женщина и, более того, королева, влюбилась в него. Но какое удовлетворение ни испытывал бы Жильберт, королева была смущена его равнодушием и его личной холодностью. Впрочем, это был век бесхитростный, когда грехи назывались их именем и рассматривались самыми честными джентльменами с некоторого рода ужасом, наполовину религиозным, но главное – с почтительным отвращением. Все, что было общим выражением узкой, но возвышенной морали, в последние месяцы запечатлелось в душе Жильберта пылающими буквами, которые были ранами, все ещё существующими и нанесёнными воспоминаниями о стыде своей собственной матери.

Смущение от этих размышлений улеглось при появлении королевы Элеоноры. Она вышла из нижнего этажа чрез окно, открывавшееся на землю; бросила взгляд кругом пустынь-

ного двора и приблизилась к Жильберту. Он уже достаточно долго пробыл в Париже и понимал, что королева Элеонора не обращала ни малейшего внимания на установленные правила, специальные предрассудки и суровые традиции при дворе её мужа. И когда однажды Людовик серьёзно запротестовал против её мысли одеваться по-мужски в кольчугу и ездить верхом по-мужски на своём любимом скакуне, она с большей или меньшей милостью, согласно своему настроению, внушала ему, что её владения значительнее французского королевства, и чему научил её Вильгельм Аквитанский, было безусловно хорошо и выше всякой критики Людовика Капета, происходившего от парижского мясника. Тем не менее англичанин испытывал некоторый благоразумный страх при мысли, что он, скромный оруженосец, находится в этом уединённом уголке с самой красивой и самой могущественнейшей из царствовавших королев. Но обладая почти сверхъестественным даром быстро угадывать, Элеонора знала о чем он думал, прежде чем подошёл к ней. Она заговорила очень просто, как будто подобное свидание было из числа обыденных случайностей.

– Вы не знали, что это моё окно? – сказала она очень спокойно. – Я видела ваше удивление, когда вы заметили, что я на вас смотрю. Это окно маленького зала, находящегося позади моей комнаты, а вниз ведёт лестница. Я часто прохожу здесь, но я мало беспокоюсь о том, что делается вне замка. Сегодня, проходя, я услышала голос этого глупого разгневанного ребёнка, и когда я увидела его лицо и услышала его слова, то не могла удержаться от смеха.

– Молодой принц прямодушен, – сказал спокойно Жильберт, так как ему казалось вероломным присоединяться к смеху королевы.

– Прямодушен, – согласилась королева. – Дети всегда прямодушны.

– Тем более они заслуживают уважения, – сказал Жильберт.

– Меня никогда не учили уважать детей, – ответила королева со смехом.

– Так вы никогда не читали Ювенала? – спросил Жильберт.

– Вы часто рассказываете мне о предметах, о которых я раньше не слыхала, – отвечала королева. – Может быть это причина, почему вы нравитесь мне.

Королева остановилась и опёрлась на стену, так как они дошли до угла двора. Она задумчиво закусила зубами побег розмарина, который, проходя, сорвала на своём окне. Жильберт не мог удержаться, чтобы не восхититься маленькими белыми зубами, резавшими, как ножами слоновой кости, тонкие зеленые листочки. Но королева отвернула от него свои задумчивые глаза.

Жильберт считал необходимым прекратить молчание.

– Ваше величество очень добры, – сказал он, почтительно склоняясь.

– Что сделало вас таким печальным? – спросила она внезапно, после короткой паузы и смотря ему прямо в лицо. – Разве Париж так скучен? Наш двор суров? Разве вино моей Гасконны так кисло, что вы не хотите быть весёлым, как другие, или... – она слегка засмеялась, – или с вами обращаются не с достаточным почтением и вниманием, какое должно бы оказывать человеку вашего класса?

Жильберт выпрямился, несколько оскорблённый этой шуткой.

– Вы хорошо знаете, государыня, что я не принадлежу ни к какому привилегированному классу, – сказал он. – И если вам угодно было бы предложить мне достойное испытание, дающее право заслужить рыцарство, я однако принял бы его лишь от моей законной государыни.

– Как, например, выучить меня игре в мяч? – спросила она, делая вид, что не слышала окончания его фразы. – Вы можете сделаться рыцарем одинаково, как за это, так и совсем за другое.

– Ваше величество никогда не бываете серьёзны, – заметил Жильберт.

– Нет, иногда, – отвечала королева и опустила глаза. – Вы находите, что я недостаточно часто бываю серьёзна? А вы... бываете таким... слишком часто, всегда такой?

– Будь я королевой Франции, то наверно имел бы такое же легкомысленное сердце, – сказал Жильберт. – Но если бы ваше величество сделали Жильбертом Вардом, то, может быть, вы были бы ещё печальнее меня.

И он с горечью засмеялся. Элеонора подняла брови и спросила с оттенком иронии;

– Вы так молоды и уже имели столько огорчений?

Но в то время как она смотрела ему в глаза, на его лице появилось выражение истинного, жестокого страдания, которое невозможно скрыть.

Он опёрся на стену, устремив неопределённо глаза перед собой. Тогда королева, видя, что неосторожно коснулась незалеченной раны, бросила на него взгляд сострадания и снова закусил розмариновый побег; понутив голову, она медленно пошла к следующему устою.

Там она повернула назад и, направившись обратно, подошла к нему. Прикоснувшись пальцем до его скрещённых рук, она посмотрела ему в глаза, устремлённые далеко через её голову.

– Я не хотела ни за что на свете причинить вам нравственную боль, – сказала она очень серьёзно. – Я хочу быть вашим другом, лучшим другом... Понимаете вы это?

Жильберт пришёл в себя и, опустив глаза, увидел приближённое к нему лицо Элеоноры. Это положение должно было бы его взволновать, но сходство королевы с его матерью поставило такую между ними ледяную преграду, о которой он даже не помышлял.

– Вы очень добры, государыня, – сказал он. – Бедный оруженосец без пристанища и состояния не может быть другом королевы Франции.

Она слегка отодвинулась, но её рука продолжала опираться на руку Жильберта.

– При чем же земли и состояние в вопросе дружбы... любви? – спросила она. – Очаг дружбы в сердце тех, кто её испытывает, благоденствие дружбы – вера в неё.

– Да, государыня, это должно быть так, – ответил Жильберт.

Её голос разгорячился и задрожал.

– Тогда будьте моим другом, – продолжала она.

Её рука протянула ему руку в ожидании, что Жильберт положит в неё свою.

Он взял её и поднес к губам, делая жест, что преклоняет колено.

– Поберегите это для двора, – сказала она. – Когда мы одни, воспользуемся нашей свободой и будем простыми человеческими существами, мужчиной и женщиной, другом и подругой.

Жильберт все ещё держал её руку и видел только настоящую истину, под маской дружбы которой она скрывала разрастающуюся любовь. Он был молод и считал себя одиноким, почти без друзей. Его сердце внезапно наполнилось благотворной теплотой, смешанной с действительной признательностью в настоящем и самой рыцарской преданностью в будущем.

Элеонора чувствовала, что отчасти одержала победу и сразу потребовала привилегию дружбы.

– Так как мы друзья, – сказала она, не оставляя его руки, – не окажете ли вы мне доверие и не расскажете ли, что разбило вам сердце? Может быть, я помогу вам? Скажите мне все, – повторила она. – Скажите о себе все.

Жильберт колебался, а королева, прочитав на его лице нерешительность, нежно пожала ему руку, поощряя его на откровенность. Убедительно-нежный голос Элеоноры производил на него ещё большее впечатление, чем её красота. Прежде чем дать себе отчёт в том, что он делает, Жильберт шёл медленно слева от королевы в тени церкви и рассказывал ей свою историю. Заинтересованная королева молча слушала его, слегка повернув к нему свою голову; их глаза встречались с обоюдной симпатией. Разумеется, он не рассказал бы своей истории мужчине, не рассказал бы её и женщине, которую любил. Элеонора же представлялась ему новой, неведомой связью, и его сердце осветилось тихим светом дружбы, и в нем зародилось неожиданное доверие.

Он рассказал все, что случилось с ним, от начала до конца; но звуки его собственных слов казались ему странными. Он рассказывал ей о том, что видел два, три года назад, как будто это были совсем недавние события. Не раз он неожиданно прерывал рассказ, будучи охвачен ужасом от того, что рассказывал, почти сомневаясь даже в своём собственном свидетельстве. Впрочем кое о чем он умолчал... Он не сказал о Беатрисе и не намекнул о любви, наполнявшей его грудь и занявшей место в его жизни.

Сделав множество поворотов, он едва сознавал, что королева взяла его под руку и время от времени нежно пожимала её в знак симпатии.

Когда он окончил дрожащим голосом свой рассказ о том, как отправился в свете искать счастья, королева остановила его, и оба стояли неподвижно.

– Бедный мальчик, – прошептала она тихим голосом, – бедный Жильберт!

Она сделала с умыслом ударение на его имени.

– Свет сильно задолжал вам... не он заплатит этот долг.

Она улыбнулась, произнося последние слова, и ещё неожиданнее и крепче пожала ему руку. Жильберт тоже улыбнулся, но с видом недоверия. Затем она посмотрела на свою руку, лежавшую на его рукаве, и задумчиво сказала:

– Но это не все, разве не было женщины в вашей жизни... не было любви... особы, которая была для вас дороже всего, что вы потеряли?

Лёгкий румянец покрыл щеки Жильберта и тотчас же исчез.

– Её у меня тоже отняли, – сказал он тихим, но твёрдым голосом. – Это была дочь Арнольда Курбойля... Женясь на моей матери, он сделал из своей дочери мою сестру. Вы знаете закон церкви?

Элеонора раскрыла рот, чтобы отвечать, и тотчас закрыла его, не произнеся ни слова; её веки полузакрылись, заволакивая её загадочный взгляд. Если Жильберт Вард не знал, что церковь в подобных случаях соглашается на разрешение, зачем ему об этом говорить?

– Впрочем, – прибавил он, – я не могу теперь на ней жениться иначе, как силой похитив её у отца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.